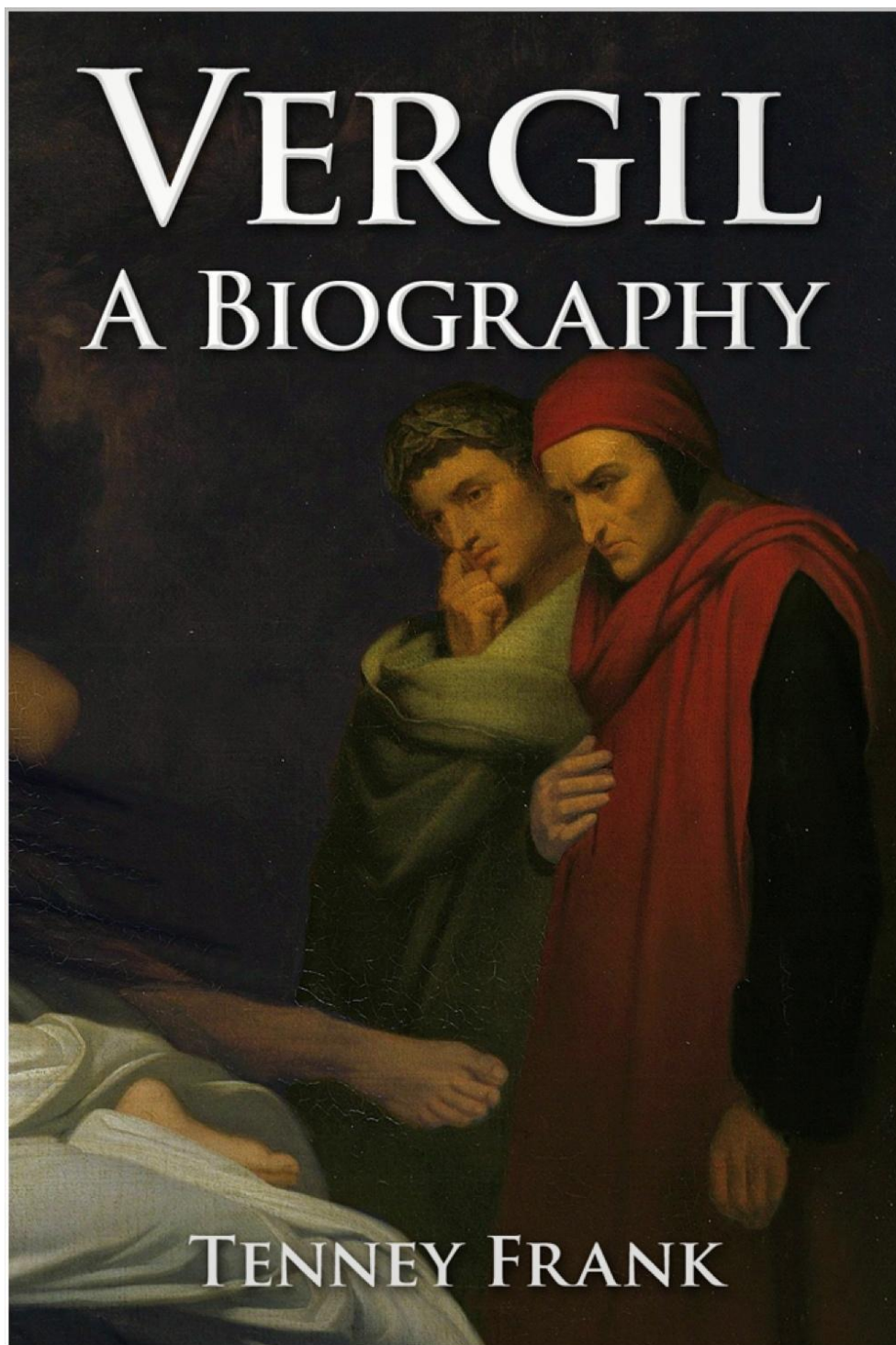


Вергилий. Биография

Тенни Фрэнк

VERGIL A BIOGRAPHY



ВЕРГИЛИЙ. Биография

Автор : ТЕННИ ФРЭНК

Профессор латыни в Университете Джона Хопкинса

1922

ПАМЯТИ У. ВАРДА ФАУЛЕРА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная литературная критика приучила нас интерпретировать наши шедевры в свете повседневного опыта автора и условий общества, в котором он жил. Однако личности очень немногих древних поэтов могут быть раскрыты, и это, возможно, главная причина, по которой их произведения кажутся обычному человеку такими холодными и отстраненными. Эпоха Вергилия с ее чудовищно напряженной борьбой скрыта за непроницаемым туманом двадцати веков: самой своей теорией искусства поэт сознательно задернул завесу между собой и своим читателем, и обрывки информации о нем, переданные нам грамматиком четвертого века Донатом, непоследовательны, в лучшем случае недостоверны и, как правило, не имеют отношения к делу.

Действительно, критика жестко обошлась с "Жизнью Вергилия" Доната. Это показало, что "скудные жизнеописания" представляют собой конгломерат нескольких случайных фактов, вставленных в массу более поздних догадок, полученных из буквальной интерпретации Эклог, к которым в течение легковверных и невротичных десятилетий второго и третьего веков приросло множество безответственных сплетен.

Однако, хотя нам пришлось отвергнуть многие утверждения Донатуса, критика принесла нам нечто большее, чем справедливую компенсацию из другого источника. Серия детальных исследований многочисленных второстепенных поэм, приписываемых Вергилию древними авторами и средневековыми рукописями, которые современные ученые до недавнего времени признавали недостоверными, вынудила большинство из нас принять приложение "Вергилиана" за чистую монету. Эти стихи, написанные в годы становления Вергилия, еще до того, как он принял сдержанную манеру классического стиля, полны личных воспоминаний. Они раскрывают много важных фактов о его повседневной жизни, его занятиях, его амбициях и его идеалах, и лучше всего они раскрывают процессы, с помощью которых поэт в течение десятилетнего ученичества развивал зрелое искусство Георгик и Энеиды. Они дали нам возможность представить его с такой яркостью, которая не дарована нам ни одному другому латинскому поэту.

Таким образом, причина попытки написать новую биографию Вергилия в настоящее время очевидна. Это эссе, задуманное с целью сосредоточить внимание на реальной жизни поэта, обошло стороной более масштабную задачу литературной критики, а также избежало темы литературных источников Вергилия - темы, которой ученые, как правило, уделяют слишком много внимания. Таким образом, книга носит краткий характер, но она была посвящена единственной теме в убеждении, что читатель, который будет изучать произведения Вергилия

как в какой-то мере результат собственного опыта поэта, найдет новый смысл во многих их строках.

Т.Ф.

Я

ПОГРУЖЕНИЯ В МАНТУЮ

Среди биографических общих мест часто встречается обобщение, что именно провинциал приобретает перспективу, необходимую для истинной оценки нации, и что именно деревенский парень, выросший в одиночестве, общаясь с самим собой, достигает глубочайшего знания человеческой природы. Если в этом размышлении есть какая-то доля правды, Публий Вергилий Маро, фермерский мальчик с Мантуанской равнины, был в такой степени любимцем при рождении. Пятнадцатое октября 70 года до нашей эры до сих пор остается в благочестивой памяти мантуанцев: в 1930 году они, несомненно, пригласят Италию и набожные народы всех стран отпраздновать двадцатисотлетие со дня рождения поэта.

Древние биографы, мало интересовавшиеся теориями Менделя, не сообщили, из какого рода происходила его семья. Научное любопытство и националистический эгоизм вынудили современных биографов стать антропологами. Соответственно, тот или иной критик ссылал Вергилия на каждый из нескольких народов, населявших долину По в древние времена: умбрийцев, этрусков, кельтов, латинян. Доказательства не могут быть сведены к убедительному заключению, но, возможно, стоит отказаться от невероятных предположений.

Название мало о чем говорит. Вергилий - хорошее курсивное наименование, встречающееся во всех частях полуострова, [1] но латинские имена пришли как нечто само собой разумеющееся с даром гражданства или латинского статуса, а Мантуя с остальной частью Цизальпинской Галлии получили латинский статус за девятнадцать лет до рождения Вергилия. Когномен Маро по происхождению является титулом магистрата, которым пользовались этруски и умбрийцы, но когномины были недавней модой в первом веке до нашей эры и были выбраны родителями представителей среднего класса в основном случайно.

[Сноска 1: Браунхольц, "Национальность Вергилия", Классическое обозрение, 1915, 104 и далее.]

Сам Вергилий, хороший антиквар, уверяет нас, что в героическую эпоху Мантуя была в основном этрусской с анклавами двух других народов (предположительно умбрийцев и венецианцев). В этом он, несомненно, следует довольно надежной традиции, принятой тем более охотно из-за его близости с Меценатом, который, конечно же, был этруском:[2]

Mantua dives avis, sed non genus omnibus unum,

Gens illis triplex, populi sub gente quaterni,

Ipsa caput populis; Tusco de sanguine vires.

[Сноска 2: Энеида, X, 201-3.]

Плиний, по-видимому, предположил, что этот отрывок является описанием Мантуи времен самого Вергилия: *Mantua Tuscorum trans Padum sola reliqua* (III. 130). Однако вряд ли Вергилий имел в виду именно это, поскольку кельты, наводнившие долину По четыре столетия назад, гнали перед собой все, кроме венецианских болот и лигурийских холмов. Они не могли оставить этрусскую крепость в центре своего пути. Вергилий, вероятно, не был этруском.

Столь же маловероятен и аргумент о кельтском происхождении. С тех пор, как сеноны сожгли Рим в 390 году до нашей эры, и до тех пор, пока Цезарь не завоевал Галлию, страх перед вторжениями этой ужасной расы никогда не дремал. В тяжелые годы Пунической войны, когда Ганнибал вывел своих свежих рекрутов из долины По, все сильнее укреплялась решимость в том, что Альпы должны стать линией ограждения Рима на Севере. Соответственно, умиротворение Транспаданского региона продолжалось с небольшими перерывами, пока Полибий [3] не смог сказать за два поколения до рождения Вергилия, что галлы практически были изгнаны из долины По и что тогда они удерживали лишь несколько деревень в предгорьях Альп. Если это правда, то на открытой местности Мантуи должно было остаться мало выживших. А те немногие, что остались, вряд ли часто имели привилегию вступать в браки с римскими поселенцами, которые заполняли образовавшийся вакуум. Римляне были слишком горды своим гражданством, чтобы вступать в браки с перекрестками и растить детей, которые по римским законам должны были отказаться от достоинства гражданства.[4]

[Сноска 3: Полибий, II. 35, 4 (написано около 140 г. до н.э.).]

[Footnote 4: Ulpian, Dig. V. 8, ex peregrino et cive Romano, peregrinus nascitur.]

Время от времени заявлялось, что в поэзии Вергилия присутствует кельтский оттенок романтики, хотя те, кто использует такие термины, редко сходятся в их определении. Его романтизм легче объяснить его ранней преданностью группе поэтов-катуллов, а кельтские черты - какими бы они ни были - тесной расовой принадлежностью между кельтами и итальянцами, подтвержденной антропологами. Но трудность применения критерия "кельтского темперамента" заключается в том факте, что, по-видимому, в настоящее время нет истинных представителей кельтской расы, по которым можно было бы установить критерий. Антропометрические исследования показали, что народы, дольше всех сохранившие диалекты кельтских языков, содержат доминирующую разновидность другой расы, возможно, доиндоевропейских жителей Западной Европы. Следовательно, возможно, то, что арнольдианцы сейчас называют "кельтами", в конце концов, не является кельтским. В лучшем случае небезопасно искать расовые черты в творчестве гения; в данном случае это лишь выдало бы расплывчатость мышления.

Поэтому предположение о кельтском происхождении является опасным.[5] Однако существует большая вероятность того, что предки Вергилия были среди римских и латинских колонистов, которые отправились на север в поисках новых домов во втором веке до н.э. Отец Вергилия, безусловно, был римским гражданином, поскольку никто, кроме гражданина, не мог отправить своего сына в Рим для подготовки к политической карьере. Мантуя действительно, "латинский" город после 89 года до н.э., стал римским муниципалитетом только после того, как Вергилий покинул его, но отец Вергилия, согласно восьмому Катаlepтону, ранее в своей жизни жил в Кремоне. Этот город был колонизирован римскими гражданами в 218 году до н.э. и повторно колонизирован в 190 году, и хотя колонисты были понижены до "латинского статуса", городские власти и их потомки с самого начала получили гражданство, и, наконец, в 89 году до н.э. вся

колония получила полное гражданство. Но совершенно независимо от этого, вся Цизальпинская Галлия, как назывался этот регион, принимала иммигрантов со всех частей Италии на протяжении всего второго столетия, когда поля дальше на юг истощались из-за долгой обработки и переходили в руки капиталистических землевладельцев и скотоводов. Поскольку римское гражданство было личным, а не территориальным правом, такие иммигранты могли сохранить свой политический статус, несмотря на смену места жительства. Следовательно, существует вероятность, что в любом случае Вергилий, хотя и родился в провинции, происходил из старой латинской семьи.

[Примечание 5: мы знаем, что Вергилий был высоким и темноволосым. Галлы, как правило, были светлокожими. Этруски, с другой стороны, были смуглыми, но, как правило, невысокого роста. Однако такие данные не имеют большого значения.]

Со временем об этом ребенке появились соответствующие истории, но то, что биографы предпочли повторить в легковерные дни Доната, когда Рим был почти восточным городом, не должно нас долго задерживать. Донату, без сомнения, имя *Magia* казалось подходящим для матери поэта, знавшей тайны нижнего мира; то, что она пророчески мечтала о грядущем величии своего сына, мы можем признать само собой разумеющимся. Трезвый рассудок, однако, вряд ли может принять чудесный тополь, выросший на месте рождения, или истории о рождении, выводящие "Вергилия" из *virga*, вопреки ранней латинской терминологии. Хорошо бы упомянуть об этих вещах просто для того, чтобы мы могли помнить, насколько мало доверия на самом деле заслуживают биографы покойного.

Донат также склонен принять традицию о том, что отец Вергилия был гончаром и человеком очень скромного положения. То, что отец Вергилия мастерил керамику, может быть правдой; род занятий отца, вероятно, был зафиксирован в биографии Августа, но требуется некоторое знание римского общества, чтобы понять, что означали эти слова в конце Республики. Во времена Доната "гончар" был поденщиком в набедренной повязке и кожаном фартуке, зарабатывавшим около двадцати центов за долгий четырнадцатичасовой рабочий день. Излишне говорить, что в течение многих лет неторопливая компетентность Вергилия черпалась не из такого скудного источника. Донат забыл, что во времена Вергилия экономическая система Рима была совершенно иной. В конце Республики гончары Северной Италии открыли фабрики огромной производительности, поскольку они своими художественными краснофигурными изделиями захватили рынки всего Средиземноморского бассейна. Настоящие рабочие ни в коем случае не были римскими гражданами, а были рабами. И мы должны добавить, что в то время как промышленные производители, как и торговцы, в целом пользовались низким уважением, поскольку большинство из них были иностранцами и вольноотпущенниками, производителям фаянса случайно удалось избежать всеобщего презрения. Причина заключалась просто в том, что производство фаянса зародилось как законное продолжение сельского хозяйства - это была одна из форм использования продуктов, выращиваемых на дачах, с максимальной пользой - и сельское хозяйство, как мы помним (включая садоводство и животноводство), оставалось во времена Цицерона единственным респектабельным, приносящим доход занятием, которым римский сенатор мог заниматься без извинений. Вот причина, по которой даже имена Цицерона, Асиния Поллиона и Марка Аврелия можно встретить на штампах на кирпичах, в то время как для таких людей было бы социально невозможно владеть, скажем, скобяными или швейными фабриками. Донатус был уже так далек от того дня, что совершенно не ощущал его социальных запретов. Имущество отца Вергилия -

возможно, ферма с гончарным мастерством на какой-то ее части - вряд ли могло быть небольшим, когда оно поддерживало молодого студента в течение многих лет в его праздном существовании в Риме и Неаполе под руководством мастеров, привлекавших столичную аристократию. Следовательно, история Проба, в остальном не очень достоверная, может быть правдивой - что шестьдесят солдат получили свои наделы из поместий, отнятых у отца Вергилия.

Немаловажное значение имеет тот факт, что Вергилий сначала готовил себя к общественной жизни[6] и продвинулся настолько далеко, что принял одно дело в суде. В те дни для того, чтобы вступить в общественную жизнь, было принято как можно шире осваивать литературу, историю, риторику, диалектику и судебную процедуру, а также привлекать внимание общественности к выборам, берясь за несколько дел. Не каждый горожанин отваживался сделать такую карьеру. Это было единственное занятие, которое дворянство охраняло наиболее ревностно. В то время как любой иностранец или вольноотпущенник мог стать врачом, банкиром, архитектором или крупным торговцем, он не мог позволить себе выступать перед претором для обсуждения прав и заблуждений римских граждан; и поскольку работа адвоката, кроме того, считалась законной прелюдией к исполнению судебных функций, ее следовало защищать более тщательно. Для Верджилия было бы совершенно бесполезно готовиться к этой карьере, если бы она была явно закрыта. В эпоху Цицерона у нас нет достоверных сведений о каком-либо молодом человеке, успешно поднявшемся из деловых или индустриальных классов к общественной карьере, за исключением аномальных случайностей, вызванных гражданскими войнами. Таким образом, предположительно, отец Вергилия принадлежал к семье землевладельцев, имевшей в своем активе некоторые почести на муниципальной службе.

[Сноска 6: Донат, 15; Кирис, л.2; Catal. V.; Сенека, Controv.

III. praef. 8.]

Из физических черт поэта у нас нет ни удовлетворительного описания, ни сходства. Он был высоким, смуглым и костлявым, сохранив на всю жизнь внешность сельского жителя, по словам Доната. Он также страдал, по словам того же автора, симптомами, сопровождающими туберкулез. Достоверность этого довольно неадекватного описания подтверждается портретом поэта второго века, выполненным на грубой мозаике, которая была найдена в северной Африке.[7] Безусловно, техника настолько ошибочна, что мы никак не можем считать это точным подобием. Но мы можем, по крайней мере, сказать, что изображенный человек - мужчина лет сорока пяти - был высоким и широкоплечим, и что его лицо с широким лбом, пронизательным взглядом, твердым носом, крупным ртом и подбородком отчетливо изображено осунувшимся.

[Сноска 7: см. Monuments Piot. 1897, стр. xx; Atene e Roma, 1913, opp. стр. 191.]

Существует также неопознанный портрет в виде полудюжины посредственных копий, изображающий мужчину двадцати пяти-тридцати лет, который некоторые археологи склонны рассматривать как возможное изображение Вергилия.[8] Это так называемый "Брут". Аргумент в пользу его атрибуции заслуживает серьезного рассмотрения. Бюст, хотя и изображает гораздо более молодого человека, чем африканская мозаика, демонстрирует тот же контур лица, брови, нос, щеки и подбородок. Более того, трудно представить себе какого-либо другого римлянина в частной жизни, который достиг бы такой славы, что шесть мраморных копий его портрета

пережили бы всеядные печи для обжига извести темных веков. В римском музее Баррокко есть очень реалистичная копия[9] этого типа в виде полурельефа. Хотя его твердая, сухая работа, по-видимому, относится к периоду на несколько десятилетий более позднему, чем "Юность Вергилия", он вполне может быть довольно точной копией одного из первых бюстов Вергилия, изготовленного в то время, когда Эклоги распространили его славу по всему Риму.

[Сноска 8: См. раздел Британской школьной программы Mus. Capitolino, p. 355;

Bernoulli, Röm. Иконография, I, 187, Хельбиг, '3 I, № 872.]

[Сноска 9: миссис Стронг, Римская скульптурная тарелка, CIX; Геклер, Греческие и римские портреты, 188 а. Древность этого мрамора была поставлена под сомнение.]

Страной со здоровым телосложением, умственным и физическим, был пограничный регион, в котором Верджил вырос до зрелости; и если бы позже гражданские войны не лишили его крепких граждан и не реколонизировали под обломками этих войн, он стал бы опорой Италии на протяжении всей Империи. Более ранние римляне и латиняне, которые первыми получили колониальные наделы или мигрировали туда поодиночке на протяжении более столетия, были более суровыми людьми, чем ленивые остатки, которые добрались до городских хлебных ям. Эти пришельцы с границы пришли, когда итальянское племя было еще крепким, еще не зараженным вольноотпущенниками восточного происхождения. Такие города, как Кремона и Мантуя, были более верными хранителями пуританских идеалов времен Катона, чем сам Рим. Ясная выразительная речь текстов Катулла, полных старомодных оборотов, здоровые социальные идеалы Георгики Вергилия, жизнерадостный идеализм "Энеиды" и "Анналов" Ливия говорят на истинном языке этих людей. Поэтому неудивительно, что в "юности Вергилия" именно группа соотечественников-провинциалов - вернувшихся сыновей бывших эмигрантов из Рима - возглавляет новые литературные движения. Это энергичные, умные молодые люди, превосходно образованные, свободные от сковывающего городского традиционализма, к тому же многие из них хорошо обеспечены мирскими благами, приобретенными в новой богатой стране. Таковы были Катулл Веронский, Варий Руф, Квинтилий Вар, Фурий и Альфен Кремонские, Цецилий Комумский, Гельвий Цинна, по-видимому, из Брешии, и Валерий Катон, которому каким-то образом удалось внушить столь многим из них любовь к поэзии.

II

ШКОЛА И ВОЙНА

В Кремону Вергилия отправили в школу. Цезарь, губернатор провинции, в это время завоевывал Галлию, а поскольку Кремона была передовой провинциальной колонией, из которой Цезарь мог набирать легионеров, школьники, должно быть, видели немало манипулов, марширующих на поля сражений в Бельгии. Эти мальчики читали свой "Галльский воин" в первом издании, серийном издании. Когда мы вспоминаем о преданности солдат Цезаря своему предводителю, нас вряд ли может удивить непреходящее почтение поэта к великому императору. Должно быть, он и сам видел этого человека, поскольку Кремона была главным пунктом в круговороте придворных поездок, которые Цезарь посещал зимой между своими кампаниями - всякий раз, когда галлы давали ему передышку.

Мужскую тогу Вергилий надел в пятнадцать лет, в год, когда Помпей и Красс вступили в свои вторые консульства, - извещение всему миру о том, что триумвират был продолжен на условиях, делавших Юлия вершителем судеб Рима.

В том же году мальчик уехал из Кремоны, чтобы закончить литературное образование в Милане, городе, который теперь угрожал превзойти Кремону по значимости и размерам. Продолжение его учебы в провинции, а не в Риме, по-видимому, было удачным: дух школ севера был более здоровым. В Риме чрезмерное упорство в получении практического образования, несмотря на протесты Цицерона, загоняло мальчиков в классы риторов, которые, как предполагалось, должны были в раннем возрасте превратить их в законченных государственных деятелей; предполагалось, что политическая карьера - дело каждого джентльмена и что каждый молодой человек любых притязаний должен овладеть искусством эффективно говорить и "думать на ходу". Притязаниям чистой литературы, философии и истории уделялось слишком мало внимания, и главное упражнение было сосредоточено на технике декламационной прозы. Не то чтобы изучение риторики само по себе было сделано абсолютно практичным. Учителя, к сожалению, были слишком тонкими и длинными в технических деталях, чтобы удерживать прибыльных учеников в течение нескольких лет. Но их заявления о том, что они достигли практических целей, были навязаны родителям, и система образования пострадала.

С другой стороны, в северной провинции был меньший спрос на исследования, ведущие непосредственно к форуму. Более того, там работали одни из лучших преподавателей.[1] Это были людикатолических вкусов, которые в своих лекциях по литературе широко распространялись на протяжении веков греческих мастеров от Гомера до новейших популярных поэтов эллинистического периода и на латинских поэтов от Ливия до Луцилия. Действительно, молодые люди, обучавшиеся в Кремоне и Милане во времена Суллы и Цезаря, были теми, кто в свое время передал факел литературного искусства в Риме, в то время как римская молодежь увлекалась риторикой. Таким образом, поразительная католичность вкуса Вергилия и его отвращение к сковывающей технике курса риторики, вероятно, в значительной степени объясняются его контактом с провинциальными преподавателями. Вергилий не презирал Аполлония, потому что Гомера почитали как верховного учителя, и хотя непринужденное обаяние Катулла рано научило его любить "новую поэзию", тем не менее он ценил суровую силу Энния. Если бы его раннее образование было получено в Риме, где педант противостоял педанту, где соперничество вынуждало каждого учителя занимать партизанскую позицию, а материальные требования вынуждали всех давать "практическое образование", даже поэтический дух Вергилия мог бы притупиться.

[Сноска 1: Светоний, Де Грам. 3.]

Как долго Вергилий оставался в "Милане", нам не сообщается; должность Доната в "Пауло" - термин относительный, который может означать несколько месяцев или несколько лет. Однако в возрасте шестнадцати лет Вергилий, несомненно, был готов к изучению курса риторики, и вполне возможно, что он отправился в великий город еще в 54 году до нашей эры, в тот самый год, когда умер Катулл и был опубликован труд Лукреция "De Rerum Natura". Краткая биография Вергилия, содержащаяся в бернской рукописи - документе сомнительной ценности, - упоминает Эпидия как учителя Вергилия по риторике и добавляет, что Октавий, будущий император, был его товарищем по учебе. Это ни в коем случае не является необоснованным, несмотря на разницу в возрасте двух учеников в семь лет. Вергилий, выходец из провинции,

довольно поздно начал заниматься риторикой, в то время как Октавиусу, должно быть, рано потребовалась помощь мастера декламации, поскольку в возрасте двенадцати лет он готовился произнести *laudatio funebris* на могиле своей бабушки. Таким образом, эти двое, возможно, встретились в лекционном зале Эпидия в 50 году до н.э. Вергилий, несомненно, мог бы позволить себе обучение у такого мастера, поскольку в настоящее время он нанял не менее выдающегося Сиро. У нас есть независимое свидетельство Светония о том, что Эпидий был учителем Октавия и Марка Антония.

Если судить по стилю Антония, этот новый мастер Вергилия был ритором сложного азиатского стиля, [2] тогда еще ортодоксальным в Риме. Эта школа - за исключением того, что Цицерон критиковал ее за впадение в крайности, - еще не подверглась эффективному противодействию со стороны подрастающего поколения целомудренных аттиков. Гортензий был все еще жив и высоко почитался, а Цицерон недавно написал свое сложное "*De Oratore*", в котором с кажущимся спокойствием все еще непререкаемого авторитета изложил программу автора витиеватой прозы, считавшего своим главным долгом прислушиваться к требованиям искусства. Не будучи отъявленным азиатом, он отстаивает требования "большого стиля", столь приятного для сенаторской аудитории, с его хорошо сбалансированными периодами, тщательно модулированными, благородно сформулированными, с точной интонацией и произносимыми с достоинством. Безусловно, Кальв уже поднял знамя аттицизма и несколькими язвительными выпадами показал, чего может достичь простой, бережливый и прямой стиль; Калидий, один из первых римских учеников великого Аполлодора, уже начал произносить предвыборные речи в своих тщательно отточенных речах, которые болезненно избегали всяких украшений или страсти; и сам Цезарь, олицетворение эффективности, продемонстрировал, что лидер демократической черни должен быть мастером резких фраз. Но Кальв не угрожал стать политической силой, Калидий был слишком уравновешен, а Цезарь сейчас находился на севере, сражаясь другим оружием. Престиж Цицерона все еще казался незыблемым. Только после того, как Цезарь перешел Рубикон в 49 году, после смерти Гортензия, а Цицерон был оттеснен в сторону как никудышный государственный деятель, аттизм получил преобладание в школах. Позже, в 46 году, Цицерон в нескольких замечательных сочинениях снова взялся за дубинки для изощренной прозы, но тогда его дело было уже проиграно. Победа Цезаря продемонстрировала, что Рим желал действий, а не слов.

[Примечание 2: Октавий был привлечен к аттическим принципам великим мастером Аполлодором.]

Таким образом, когда Вергилий обратился к риторике, вероятно, при Эпидии, он получил образование, которое все еще считалось ортодоксальным. Его прощание [3] с риторикой, написанное, вероятно, в 48 году, безошибочно показывает природу того, чем его кормили. Именно напыщенные и бесполезные правила азиатского вероучения он противопоставляет своим беспощадным высказываниям.

[Сноска 3: Каталептон V (Издание, Фоллмер). Бирт, "Югенде и наследственная поэзия Вергилия", 1910, предоставил полезный комментарий к Каталептону.]

Прочь вы, бесполезные школьные горшки с краской;

Твои фразы воняют, но не чердачным ароматом,

Слюни Тарквиция, Селия и Варрона:

Безмозглая команда, неутомимая в учебе.

И вы уходите, тщетно звенящие кимвалами,

Это сводит молодежь с ума.

Эпидий, конечно, не упоминается, но мы случайно знаем, что Варрон - если это эрудированный друг Цицерона - был предан азиатским принципам. А Эпидий, учитель цветистого Марка Антония, вполне может быть скрыт в списке имен Вергилия, даже если упоминание о нем было опущено по соображениям приличия.

Это стихотворение раскрывает тот факт, что Вергилий, подобно юношам времен юности Цицерона, не пользовался привилегией изучать юриспруденцию, судебную процедуру и ораторское искусство, поступив, так сказать, в юридическую контору какого-нибудь выдающегося сенатора и таким образом овладев своим ремеслом посредством наблюдения, направленной практики и личного наставления. Этот метод, столь очаровательно описанный Цицероном как вошедший в моду в дни его юности, почти исчез. Школа заняла свое место с ее мнимыми судами, состязаниями в ораторском искусстве, заданными темами в вымышленных спорах. Аналитические правила риторики становились все более запутанными и отнимали много времени, а насколько педантичными они были еще до детства Вергилия, можно увидеть, заглянув в анонимный *Auctor ad Herennium*. Студент должен был знать различия между различными видами дел, демонстративными, совещательными и судебными; он должен был знать пропорциональную ценность для оратора *inventio*, *dispositio*, *elocutio*, *memoria* и *prontatio*, а также то, как управлять каждым из них; он должен был знать, как применять *inventio* в каждом из шести разделов речи: *exordium*, *narratio*, *divisio*, *confirmatio*, *confutatio*, *conclusio*. Что касается украшения стиля, то относительно небольшая задача заключалась в запоминании иллюстраций примерно к шестидесяти фигурам речи - и так далее до бесконечности. Бессмысленный цимбалон хувентутис действительно является подходящим комментарием к таким задачам на запоминание. Конец процитированного стихотворения выдает тот факт, что поэт не смог сосредоточить свое внимание на своей задаче. Он писал стихи; кто бы не стал?

Однако, помимо непривлекательного содержания курса, постепенные изменения в политической жизни, должно быть, открыли наблюдателю, что свободное проявление талантов в общественной карьере не может продолжаться долго. Триумвират быстро подавлял свободную республику. Даже в 52 году, когда Помпей стал единоличным консулом, суд над Милоном проходил под военной охраной, и ни один адвокат не осмеливался говорить свободно. В течение следующих двух лет все видели, что Цезарь и Помпей должны подраться и что развязавшаяся в результате война может привести только к автократии.

Кризис наступил в январе 49 года до нашей эры, когда Вергилию было двадцать лет. Помпей с консулами и большинством сенаторов в смятении бежал на юг и через шестьдесят дней, преследуемый Цезарем по горячим следам, был вынужден покинуть Италию. Цезарь, стремясь быстро завершить войну, напасть на Испанию и Африку, удерживая альпийские перевалы и преследуя Помпея, начал набирать новых рекрутов по всей Италии.[4] Вергилий, по-видимому, также был нарисован в этом черновике, поскольку, по-видимому, именно это обстоятельство упоминается в его тринадцатом Каталептоне. Однако "Призыв", возможно, неподходящее слово, поскольку мы не знаем, претендовал ли Цезарь в то время на право обеспечивать соблюдение правил воинской повинности. В любом случае, из всех упоминаний Вергилия о

Цезаре ясно, что великий полководец всегда сильно влиял на его воображение. Как и большинство молодых людей, которые видели работу Цезаря в провинции своими глазами, он, вероятно, был готов откликнуться на общий призыв о вводе войск, и слова Лабиена Помпею на поле битвы при Фарсалии ясно дают понять, что армия Цезаря в основном состояла из цизальпинцев. Отчет, который они дали о себе в той битве, является достаточным доказательством того духа, который пронизывал собратьев Вергилия по провинции. Также не исключено, что сам Вергилий принимал в этом участие, поскольку одним из самых пронзительных отрывков во всем его творчестве является изображение мертвых, разбросанных по полю битвы при Фарсалии.

[Сноска 4: Cic. Ad Att. IX. 19, в марте.]

Также вероятно, что Вергилий принимал некоторое участие в круизах по Адриатике, которые Антоний совершал летом и зимой перед Фарсалией. Мало того, что в этом стихотворении говорится о службе на море, но и все его стихи демонстрируют замечательное знакомство с географией Адриатики. Если он принимал участие в походах той бурной зимы, когда потерпел крушение не один флот, мы можем понять интимные штрихи в описании столкновений Энея со штормами.

Тринадцатый Каталептон, в котором упоминается военная служба поэта, читать неприятно. Написанная, возможно, в 48 или 47 году до нашей эры, направленная против какого-нибудь ненавистного солдафона-офицера, она несет в себе различные неприятные следы лагерной жизни, которая тогда не так хорошо охранялась всевозможными благотворительными организациями, как сейчас. Нам нужно процитировать только первые несколько строк:[5]

Ты называешь меня кейтиффом, говоришь, что я не умею ходить под парусом

Снова море, и я, кажется, трепещу

Перед грозами и летней жарой не осмеливайся

Мчащийся победитель снова обхватил себя руками.

Мы знаем, насколько слабым было здоровье Верджилия в последующие годы. Его конституция, вполне возможно, была подорвана зимой 49 года, которую сам Цезарь, хотя и был привычен к северным штормам, счел необычайно суровой. Вергилию, как следует из этих строк, дали отпуск по болезни и разрешили вернуться к учебе, хотя, по-видимому, над ним насмехались за то, что он позже не вернулся в армию.

[Сноска 5:

Jacere me, quod alta non possim, putas

Ut ante, vectari freta,

Nec ferre durum frigus aut aestum pati

Neque arma victoris sequi.

Эти стихи были написаны до 46 года до н. э. , когда была создана compitalicia collegia были расформированы; Бирт, Рейн. Июль 1910, 348.]

Есть еще одна короткая эпиграмма, которая - если мы правы, считая Помпея героем этих строк - по-видимому, относится к "солдатским дням" Вергилия, третьему Каталептону:

Aspice quem valido subnixum Gloria regno

Altius et caeli sedibus extulerat.

Terrarum hic bello magnum concusserat orbem,

Hic reges Asiae fregerat, hic populos,

Hic grave servitium tibi iam, tibi, Roma, ferebat

(Cetera namque viri cuspide conciderant),

Cum subito in medio rerum certamine praiceps

Corruit, e patria pulsus in exilium.

Tale deae numen, tali mortalia nutu

Fallax momento temporis hora dedit.[6]

[Примечание 6: Узрите того, кого, поддерживаемого могущественной властью, Слава возвысила даже над небесными обителями. Великий шар Земли был поколеблен им в войне, цари и народы Азии сокрушены им, тяжкое рабство принес он даже тебе, о Рим, - ибо все остальное пало от меча этого человека, - когда внезапно, в разгар своей борьбы за господство, он пал сломя голову, изгнанный из отечества в изгнание. Такова воля Немезиды; по простому кивку, в мгновение ока, час неверия обманывает усилия смертных.]

Независимо от того, стремился Помпей стать автократом в Риме или нет, многие из его сторонников не только верили, но и желали, чтобы он это сделал. Цицерон, который не желал этого, несмотря на свою преданность своему другу, опасался, что Помпей в случае победы установит практически монархию.[7] Следовательно, Вергилий, если он написал это, когда Помпей бежал в Грецию в 49 году или после разгрома при Фарсалии, лишь выразил убеждение, которого обычно придерживались среди офицеров Цезаря. Вполне вергилиевское подавление победного крика. Стихотворение напоминает слова Анхиза о лицемерии духов Юлия и Помпея:

Tuque prior, tu parce, genus qui ducis Olympo

Proice tela manu, sanguis meus.

[Сноска 7: Cic. Ad Att. VIII, 11, 4; X, 4, 8.]

Это окончательное убеждение поэта относительно гражданской войны, на которой он служил; его первое мнение мало чем отличалось от этого.

Единственный опыт Вергилия в качестве адвоката в зале суда, возможно, следует отнести к периоду после его увольнения из армии. Egit, says Donatus, et causam apud iudices, unam omnino nec amplius quam semel. Причину своего неуспеха Донатус излагает словами Мелисса, критика, которому следовало бы знать: "в проповеди тардиссимум в качестве примера подобного учения". Сам поэт, кажется, намекает на свой разочаровывающий провал в Ciris: expertum

fallacis praemia volgi . Как он мог не потерпеть неудачу? Он так и не научился втискивать свои убеждения в простые фразы, а свои суждения - во всеобъемлющие силлогизмы. Когда он сделал все, что мог, с человеческим поведением, и приговор вынесен, он портит все своим бунтарским неприязненным видом. Успешный адвокат должен знать, чего не следует видеть и чувствовать, и у него должны быть готовые убеждения на кончике языка. В "Энеиде" есть несколько беглых ораторов, но они никогда не были близки персонажам Вергилия.

III

"КУЛЕКС"

По-видимому, в 48 году - Вергилию тогда был двадцать один год - поэт предпринял попытку написать свое первое расширенное сочинение "Кулекс", стихотворение, которое вряд ли заслуживало чести стихотворного перевода, сделанного Спенсером. Это действительно одно из самых странных стихотворений латинской литературы, непосильное бремя мифологических и литературных отсылок навалилось на самую слабую из басен.

Однажды утром пастух выходит со своими стадами на лесные поляны, очарование которых поэт подробно описывает в довольно подражательной рапсодии. Затем пастух засыпает; приближается змея и собирается ударить его, когда комар, видя опасность, вовремя жалит его, чтобы спасти. Но - таков фатализм циничных басен - пастух, все еще находясь в ступоре, давит комара, который спас ему жизнь. Ночью призрак комара возвращается, чтобы упрекнуть пастуха за его невинную неблагодарность, и довольно некстати остается, чтобы долго повторять рассказ о том, какие тени древних героев он видел в нижних краях. Стихотворение содержит 414 строк.

"Кулек" был одной из постоянных загадок литературной критики и был бы интересен хотя бы для того, чтобы проиллюстрировать неадекватность стилистических критериев. Хотя читатели эпохи Возрождения приняли его за Вергилиана просто потому, что рукописи поэмы и древние писатели, от Лукана и Статия до Марциала и Светония, приписывают ему это произведение, недавние критики обычно были настроены скептически или прямо отвергали его. Некоторые настаивают на том, что это подделка или предполагаемое произведение; другие - что это щедро дополненная переработка оригинала Верджилia. Лишь немногие восприняли это как юношескую неудачу Вергилия или как попытку поэта спародировать популярные в то время романсы. Недавние возражения касались не метрической техники, дикции или деталей стиля: теперь признается, что это в достаточной степени вергилианское искусство, или, скорее, то, что вполне могло быть вергилианским в начале его карьеры. Основная критика направлена против недостатка пропорций и очевидного отсутствия художественного чутья, проявившегося в выборе столь странного персонажа на тяжеловесную заглавную роль. Это те недостатки, о которых позже Вергилий умалчивает.

Тем не менее, Вергилий, по-видимому, написал это стихотворение. К его приписыванию Вергилию многими авторами ранней империи, а также к общему согласию рукописей, следует относиться очень серьезно. Но внутренние свидетельства еще более убедительны. Октавий, которому посвящено стихотворение, адресован Октави венеранде и святому духу, что является четкой отсылкой к замечательной чести, которую Цезарь обеспечил ему избранием на должность понтифика[1], когда ему приближалось пятнадцатилетие и до того, как он надел тогу

вирилис. Вергилию тогда был двадцать один год - приближался его двадцать второй день рождения - и мы, возможно, можем предположить, что отнесение Донатом Кулекса к шестнадцатому году жизни Вергилия было ошибкой в какой-то ранней рукописи, которая изменила первоначальную XXI на XVI, исправлением, которому благоприятствуют цитаты Статия и Лукана.[2] Наконец, когда, как мы сейчас увидим, Гораций во втором Эпизоде удостаивает Вергилия чести воспроизвести отрывок из Кулекса, Вергилий возвращает комплимент в своих Георгиках. Таким образом, мы имеем дело не только с признанием Вергилием любезности Горация, но и с его принятием этого, с его признанием Culex своим собственным.[3]

[Сноска 1: Веллий, II. 59, 3, pontificatus sacerdotio puerum honoravit, то есть до того, как он принял тогу вирилис 18 октября. Николай Дамаскин (4) подтверждает это. Октавий получил должность, освободившуюся после смерти Домиция в Фарсалии (9 августа). Его день рождения был 23 сентября 63 года. Этот высокий пост - первое указание на то, что Цезарь выбрал своего внучатого племянника в качестве возможного преемника. До этого мальчика почти не знали в Риме. См. "Классическая филология", 1920, с. 26.]

[Сноска 2: Андерсон, в журнале Classical Quarterly, 1916, стр. 225; и Класс. 1920, стр. 26. Строки посвящения в Кулексе подразумевают, что основная часть стихотворения уже была завершена. Составлял ли этот промежуток недели, месяцы или годы, поэт не говорит.]

[Сноска 3: Классическая филология, 1920, стр. 23, 33.]

Таким образом, "Кулекс" - это работа новичка, адресованная молодому парню, только что получившему высокую оценку, но, в конце концов, школьнику, с которым Вергилий, предположительно, двумя годами ранее, познакомился в аудиториях Эпидия. Дает ли это ключ, с помощью которого можно раскрыть скрытые намерения нашей странной сокровищницы разнообразных аллюзий? Пусть читатель вспомнит характер лекций по литературе того времени, когда словари, справочники и энциклопедии еще можно было найти не в каждой библиотеке, а школьные тексты еще не были снабжены краткими примечаниями Аллена и Гриноу. Только учитель мог позволить себе объемистые "шпаргалки" Дидима. Римские школьники, в отличие от греков, не впитывали все мифы простым процессом детского лепета. Легенды Гомера и Еврипида должны быть усвоены ими посредством болезненного толкования в школьных классах. Даже названия природных объектов, таких как деревья, птицы и звери, вошли в литературу с их греческими названиями, которые приходилось объяснять римским мальчикам. Следовательно, преподавателю литературы в Риме приходится тратить много времени на разъяснение текста, полное изложение мифов и составление удобных сборников метаморфоз, гомеровских героев, "деревьев и цветов поэтов" и тому подобного. Сам Эпидий, педагог прогрессивного стиля, несомненно, проявил себя знатоком в такого рода вещах. Утверждая, что он потомок древнего героя, который однажды превратился в речного бога, он, должно быть, разбирался в этих историях. Во всяком случае, нам сказали, что он написал книгу о метаморфозированных деревьях.[4] Когда Октавий читал "Кулекс", узнал ли он в причудливом отрывке, описывающем пастушью рощу метаморфозированных деревьев (124-145), фразы из конспектов лекций их многословного учителя? Есть ли какие-то воспоминания, таящиеся также в длинном списке цветов, столь неуместно сложенных на могиле комара, и в двухстах строках, подробно описывающих призрачную переписку Аида? Если это вообще пародия, то она призвана напомнить Октавию об эрудиции Эпидиана. В любом случае, это своего рода подсказка к поэтическим аллюзиям, которыми были заняты мальчики в школе. Простой сюжет о

пастухе и комаре был выбран из того типа басен, который считался подходящим для чтения в школьных классах. В силу самой своей несообразности она послужила подходящей нитью для составления каталога фактов и вымысла. Сам Вергилий дает ключ к этой интерпретации Кулекса, но он был упущен из виду из-за плачевного состояния текста, которым мы располагаем. Первые строки[5] стихотворения, по-видимому, означают:

"Мои стихи о Кулексе будут наполнены эрудицией, чтобы все знания прошлого можно было в игровой форме соединить в виде рассказа". То, что Мартиал считал ее книгой для мальчиков, подходящей для каникул между школьными заданиями, видно из надписи:[6]

Accipe facundi Culicem, studiose, Maronis,

Ne nucibus positus, Arma virumque legas.

[Сноска 4: Плиний, Нац. История. XVII. 243; Suetonius, De Rhetoribus, 4.]

[Сноска 5: Строки 3-5:

lusimus (haec propter culicis sint carmina docta,

omnis ut historiae per ludum consonet ordo

notitiae) doctumque voces, licet invidus adsit.]

[Сноска 6: Марциал, XIV. 185.]

Таким образом, "Кулекс", в конце концов, представляет собой стихотворение уникального интереса; оно переносит нас в римскую классную комнату, где на лекциях мы встречаем двух парней, чьи имена стоят первыми на доске почета золотого века.

Стихотворение, конечно, не шедевр и не задумывалось как что-то иное, кроме демонстрации силы; но понимание его цели, по крайней мере, спасет его от того, чтобы о нем судили по стандартам, к нему неприменимым. Это не является наивно и непреднамеренно неуместным. Современному читателю это кажется скучным, потому что у него под рукой гораздо лучшие сборники; без сомнения, это не вдохновляет: тема не поддавалась восторженному изложению; неясность и неуклюжесть выражений, а также подражательная фразеология выдают молодой неоформленный стиль. Однако анализировать искусство означало бы отнестись к поэме более серьезно, чем предполагал Вергилий, когда писал *currente calamo*. Тем не менее, мы можем сказать, что в целом модуляция стиха, обращение с цезурными паузами [7] и фразировка довольно выгодно отличаются от гекзаметров Катулла, которые, очевидно, служили его образцами, что в лучших строках поэт проявляет чувствительность к тонким эффектам, и что пасторальная сцена, которую Гораций хвалит несколько лет спустя, несмотря на подражательные нотки, написана с энтузиазмом и приятно напоминает нам Эклоги.

[Сноска 7: Стилистические и метрические исследования Кулекса см. В

Цезура у Вергилия, Мясник, Классический Ежеквартальный журнал, 1914, стр. 123; Харди,

Филологический журнал, XXXI, стр. 266, и четверть класса. 1916, 32 след.;

Мисс Джексон, там же, 1911, 163; Варда Фаулер, Класс. откр. 1919, 96.]

IV

"ЧИРИС"

Примерно в это же время, в 48 году до н.э., Вергилий начал писать "Цирис", романтический эпиллион, который заслуживает гораздо большего внимания, чем ему уделяли, не только как бесценный документ для истории раннего развития поэта, но и как стихотворение, обладающее, по крайней мере, в некоторых отрывках настоящими художественными достоинствами. "Цирис" еще не был завершен в то время, когда Вергилий принял судьбоносное решение отправиться в Неаполь и изучать философию. Очевидно, он отложил его в сторону и не возвращался к нему, пока не прожил в Неаполе несколько лет. Посвящение он написал лишь позже. Как мы увидим, автор снова отложил стихотворение, и оно было опубликовано только после его смерти. Предисловие, написанное в "Саду Сиро", адресовано Мессалле, который был студентом в Афинах в 45-4 годах до н.э. и служил в республиканской армии Брута и Кассия в 43-2 годах. В нем Вергилий просит прощения за то, что прислал стихотворение столь тривиального характера в то время, когда его единственная цель - достойно описать принятую им философскую систему. "Тем не менее, - говорит он, - примите пока это стихотворение: это все, что я могу предложить; на него я потратил усилия ранней юности. Давным-давно был дан обет, и теперь он выполнен". (Сирус, 42-7.)[1]

[Сноска 1: По вопросу подлинности см., Класс. Фил. 1920, 103 и далее.]

История, начинающаяся со строки 101, была мне знакома. Минос, царь Крита, осадил Мегару, царю которой Нисусу оракулы обещали непобедимость до тех пор, пока его алый локон останется нетронутым. Однако Юнона заставила Сциллу, дочь Ниса, влюбиться в Миноса, врага ее отца; и, чтобы завоевать его любовь, она поддается искушению предать своего отца Миносу. Картина девушки, решившей отрезать зачарованную прядь волос, пробирающейся ощупью в темноте, на цыпочках, спотыкающейся, спешащей, испуганной трепетом собственного сердца, представляет собой интересную попытку интенсивного искусства: 209-219:

cum furtim tacito descendens Scylla cubili auribus erectis nocturna silentia temptat et pressis tenuem singultibus aera captat. tum suspensa levans digitis vestigia primis egreditur ferroque manus armata bidenti evolat: at demptae subita in formidine vires caeruleas sua furta prius testantur ad umbras. nam qua se ad patrium tendebat semita limen, vestibulo in thalami paulum remoratur et alti suspicit ad gelidi nictantia sidera mundi non accepta piis promittens munera divis.

Ее пожилая медсестра Карме подходит к сбитой с толку и дрожащей девушке, закутывает ее в халат и вытягивает из нее ужасное признание; 250-260:

haec loquitur mollique ut se velavit amictu frigidulam iniecta circumdat veste puellam, quae prius in tenui steterat succincta crocota. dulcia deinde genis rorantibus oscula figens persequitur miserae causas exquirere tabis. nec tamen ante ullas patitur sibi reddere voces, marmoreum tremebunda pedem quam rettulit intra. ilia autem "quid me" inquit, "nutricula, torques? quid tantum properas nostros novisse furores? non ego consueto mortalibus uror amore."

Сцилла неохотно признается. Характеристика поэтессы, когда она затягивает рассказ, чтобы избежать финального признания, раскрывает амбициозное, хотя и несколько непрактичное

искусство. Карме тщетно пытается отговорить девушку и должна, чтобы успокоить ее, пообещать помочь ей, если все остальные средства не помогут. Нежность пожилой женщины к своему приемному ребенку очень эффектно выражена в стиле, не лишенном реминисценций из Катулла (340-48):

his ubi sollicitos animi relevaverat aestus vocibus et blanda pectus spe luserat aegrum, paulatim tremebunda genis obducere vestem virginis et placidam tenebris captare quietem inverso bibulum restinguens lumen olivo incipit ad crebros (que) insani pectoris ictus ferre manum assiduis mulcens praecordia palmis. noctem illam sic maesta super morientis alumnae frigidulos cubito subnixa pendit ocellos.

На следующий день девушка умоляет отца помириться, с юмористической наивностью спорит с государственными советниками, пытается подкупить провидцев и, наконец, прибегает к магии. Когда ничего не помогает, она прибегает к помощи Карме. Замок взломан, город падет, девушку захватывает Минос - в истинно александрийской технике катастрофа наступает со страшной скоростью - и ее ведут не к замужеству, а к цепям на галере похитителя. Ее горе выражается в длинном монологе, который чем-то слишком напоминает плач Ариадны в "Катулле". Наконец, Амфитрита из жалости превращает плененную девушку в птицу Кирис, а Зевс в награду за его благочестивую жизнь освобождает Найса, также превращая его в хищную птицу, и с тех пор между Кирисом и Найсом идет вечная война:

quacunque illa levem fugiens secat aethera pennis, ecce inimicus atrox magno stridore per auras insequitur Nisus; qua se fert Nisus ad auras, illa levem fugiens raptim secat aethera pennis.[1]

[Сноска 1: Эти четыре строки снова встречаются в "Георгиосе", I. 406-9.]

"Кирис" со всеми его недостатками - один из лучших образцов романтических стихотворений, ставших популярными благодаря александрийским поэтам школы Каллимаха. Старые легенды, конечно, были пересказаны в эпической или драматической форме, но меняющееся общество теперь меньше заботили волнующие действия и кровопролития, которые развлекали ранних греков. Настало время для пересказа с другой точки зрения, с более терпеливым анализом эмоций, внутренних порывов момента перед ударом, битвы страстей, предшествовавшей финальному акту. Мы также замечаем в этих новых стихотворениях преобладание женских персонажей. Этим мужская демократия классических Афин, как правило, пренебрегала, но в столицах новых эллинистических монархий многие влиятельные и блестящие женщины достигли высоких постов при дворе. Поэту было бы глупо не поддаться этому влиянию. Эта новая нота, конечно, сразу понравилась бы римлянам, поскольку древняя аристократия, которая всегда отводила женщине высокое место в обществе и доме, никогда не умирала в Риме. Действительно, такие ранние драматурги, как Энний и Акций, уже чувствовали необходимость развить интерес к женским ролям, когда перефразировали классические греческие пьесы для своих зрителей. Таким образом, и в Александрии, и в Риме новые поэты, естественно, выбирали для своего пересказа более романтические мифы старого царского периода.

Но поиск иной интерпретации и более глубокого содержания привел к появлению нового метода повествования. Действительно, сами истории были слишком хорошо известны, чтобы нуждаться в полной репетиции сюжета. Действие часто может предполагаться известным и отводиться одной или двум важным строкам то здесь, то там. Сценическая обстановка,

индивидуальные черты героев и героинь, их душевная борьба, их молчаливые сомнения и колебание стали главной заботой новых поэтов. Гораций назвал этот метод письма "пурпурным пятном".

Повествовательные приемы, однако, несколько различались. Некоторые поэты отбрасывали всякую идею формы. Они бродили по лесу любой тропинкой, которая могла подвернуться. Именно так Тибулл любит трактовать тему. Какая бы полуудобная тема ни напрашивалась сама собой, при условии, что только она содержит приятные фантазии, приглашайте его ненадолго задержаться; он может вернуть вас к исходной точке, а может и нет. Другие поэты по-прежнему придерживаются формы, хотя рисунок должен быть достаточно сложным, чтобы скрыть его схему от случайного читателя, и достаточно эластичным, чтобы обеспечить пространство для чувств и пафоса. В своем шестидесятом восьмом стихотворении Катулл использует то, что можно было бы назвать геометрическим узором, фактически пирамиду с неравными ступенями. Он поднимается к центральной теме серией стихов и спускается с другой стороны соответствующей серией. Однако в шестидесятой четвертой поэме, "эпиллионе", который автор "Кириса" явно имел в виду, Катулл использовал замысловатую, но отнюдь не сбалансированную форму. Стихотворение начинается с морского путешествия Пелея, во время которого он встречается морскую нимфу Фетиду. Затем поэт переходит к свадебному пиршеству только для того, чтобы остановиться на горестях Ариадны, изображенных на покрывале брачного ложа; оттуда он возвращает нас к причинам горестей Ариадны, затем к мести неверному возлюбленному Ариадны; затем ко второй сцене, вышитой на гобелене; и теперь, наконец, к самой свадьбе, которая заканчивается свадебной песней Судьбы, прославляющей будущую славу обещанного сына Пелея.

Кирис, конечно, не так запутан, но и здесь у нас есть лишь намеки на существенные части истории: как Сцилла обидела Юнону, как она встретила Миноса, как она взломала замок и как был взят город. Нам даже не говорят, почему Минос не сдержал своего обещания девушке. В середине рассказа Карме приостанавливает действие длинной ссылкой на более раннюю страсть Миноса к ее собственной дочери Бритомартис, которая привела к гибели девочки, но плач, в котором раскрывается эта история, просто намекает, но не раскрывает деталей истории. Весь сюжет "Сири" фактически раскрывается с помощью серии аллюзий и предложений, восклицаний и монологов, круглых скобок и апозиопез, вопросов и апостроф.

По технике стихосложения[2] "Кирис" так же близок к "Пелею и Фетиде" Катулла, как и "Энеида": действительно, он столь же напоминает первого, сколь и пророческий для последней. Спондейское окончание, из-за которого строка задерживается, обычно над каким-нибудь словом эмоционального содержания (л. 158):

At levis ille deus, cui semper ad ulciscendum

был для Цицерона отличительной чертой этого стиля. У Кириса он встречается реже, чем у Катулла. Подвергаясь несколько несправедливой критике как выдумка, в "Энеиде" ее обычно избегали. В "Кирисе" более резкие исключения, чем в более позднем творчестве поэта, что еще раз напоминает о технике Катулла. В своем использовании цезур Вергилий в "Кирисе" напоминает Катулла: оба в определенной степени не доверяют хореической паузе. Его уступчивость, однако, вернула ему большую популярность в различных эмоциональных пассажах "Энеиды"; но там он тщательно модифицирован введением мужских остановок до и после, нюанса, который вряд ли востребован в "Кирисе" или у Катулла. Наконец, структура

предложения еще не достигла той гибкости, которая характерна для более позднего времени. В то время как "Кирис", подобно "Пелею" и "Фетиде", изобилует причастными предложениями и предложениями в скобках, в целом в нем меньше повторяющихся строк, так что действительно частое совпадение смысловых пауз и окончаний стихов почти граничит с монотонностью.

[Сноска 2: см., в частности, Skutsch, *Aus Vergils Frühzeit*, стр. 74; Drachmann, *Hermes*, 1908, стр. 412 и далее; Л.Г. Элдридж, *Num. Culex et Ciris* и др. Гиссен, 1914; Rand, *Harvard Studies*, XXX, стр. 150. Введение, написанное последним, больше напоминает Лукреция. По вопросу о подлинности см. Drachmann, loc. cit. Vollmer, *Sitz. Байер. Академия*. 1907, 335, и Ученичество Вергилия, *Класс. Филология*. 1920, стр. 103.]

Это лишь некоторые из незначительных деталей, которые показывают, что Вергилий в юности внимательно читал Катулла и, несомненно, Кальва, Цинну и Корнифиция, которые использовали те же методы. Именно у этой группы, а не у Гомера или Энния, Вергилий научился своей технике стихосложения. Изысканная отделка "Энеиды" была результатом этой техники, тщательно переработанной в соответствии с требованиями взыскательного поэтического вкуса.

Кирис преподали Вергилию его первый урок серьезного поэтического сочинения, и для подготовки римского эпического поэта нельзя было бы поставить более важную задачу. В национальном эпосе классической объективности могло быть недостаточно для народа, который стал настолько самосознательным. Эпическая поэзия должна стать более субъективной в Риме или погибнуть. Безусловно, пороки эпизодического стиля должны быть безжалостно искоренены, и они были устранены. В "Энеиде" нет ни одного из показных поворотов сюжета, ни одного из озадачивающих полусказанных намеков на существенные факты, ни одного из дразнящих прерываний неотерического сборника рассказов. Поэт также научился избегать опасности подчеркивания тривиального и дерзкого пафоса, и он отверг элегантность стиля, которая угрожала привести к дороговизне. Однако то, что он сохранил, имело постоянную ценность. Новая поэзия, возникшая в обществе, глубоко интересовавшемся наукой, научила Вергилия с точностью наблюдать детали природы и ценить их красоту. Это также научило его тому, что в век утонченности поэт не должен полностью скрывать свою личность за вуалью. В размышлениях поэта есть приятное самосознание - никогда не слишком навязчивое, - которое напоминает о Катулле. Это подразумевает, что поэзия признается в ее великой роли критики жизни. Но больше всего в "Кирисе" раскрывается первое робкое проникновение эпического поэта в глубины человеческих эмоций, стремление понять загадки, стоящие за импульсивным телом. Становится понятно, почему Дидона, подобно Медее Аполлония, не просто доведена до страсти. Стрела Купидона - наивный греческий эквивалент средневекового любовного напитка - объясняет, почему тело Паллады не просто кладут на погребальный костер с традиционными стенаниями, почему Турн не встречает своего врага гомеровским хвастовством. То, что Вергилий проник в более богатую жилу чувств, что он научился рассматривать страсть как нечто большее, чем случайность, жертвовать простой логикой формы ради фрагментов жизненных эмоций и вспышек новых пейзажей, и, наконец, то, что он обогатил латинский словарь полезными словами, в немалой степени является результатом его ранней интенсивной работы над "Кирисом" под руководством Катулла.

Вергилий, по-видимому, никогда не публиковал "Кирис", поскольку он повторно использовал его строки, даже целые блоки строк, со свободой, которой нет аналогов. Широко обсуждаемая строка четвертой эклоги:

Cara deum suboles, magnum Jovis incrementum,

это из "Кириса" (l. 398), как и знакомый стих из VIII эклоги (l. 41):

Ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error,

и Энеида II. 405:

Ad caelum tendens ardentia lumina frustra,

и странная спондеическая неразделенная линия (Aen. III. 74):

Nereidum matri et Neptuno Aegaeo,

и множество других. Единственное разумное объяснение [3] этого странного факта состоит в том, что "Сирис" не был распространен, что его строки все еще были в распоряжении поэта и что он не предполагал, что оригинал когда-либо будет опубликован. Тот факт, что процесс повторного использования начался еще в Эклогах [4], показывает, что он решил отказаться от поэмы еще в 41 году до н.э. Разумное объяснение уже близко. Мессалла, которому было посвящено стихотворение, соединил свою судьбу с судьбой Марка Антония и Египта после битвы при Филиппах, а к Антонию Вергилий не испытывал любви. Стихотворением пренебрегали до тех пор, пока он не потерял интерес к стилю работы, который выходил из моды. Найдя более подходящую форму в пасторали, он пожертвовал Кирисом.

[Сноска 3: Драхман, Гермес, 1908, стр. 405.]

[Сноска 4: Особенно в 8, 10 и 4. Этот метод переработки старых строк раскрывает в поэте необычайный дар памяти, который так живо сохранил в памяти каждую написанную им строчку, что каждая могла легко вписаться в рисунок его новых композиций, не оставив и следа соединения. Критики, пытавшиеся выполнить эту задачу, были вынуждены признать, что критерий контекстуальной уместности не может сам по себе определить, появились ли эти строки впервые в Ciris.]

V

ИЗУЧАЛ ФИЛОСОФИЮ В НЕАПОЛЕ

"Кулекс", по-видимому, был завершен в сентябре 48 года до н.э., а основная часть "Кириса" была написана немногим позже. Теперь в делах Вергилия наступил кризис. Возможно, его собственный опыт работы в судах, или убежденность в том, что общественная жизнь не может представлять интереса при автократии, или отвращение к риторической бесполезности, или, возможно, экземпляр Лукреция заставил его остановиться. Лукреция он, несомненно, читал; об этом безошибочно свидетельствует "Кирис". И чар этого поэта он так и не избежал. Его "Прощание с Римом и риторикой" частично цитировалось выше. В конце стихотворения также прощается - хотя и более неохотно - с музами:

Ite hinc Camenae; vos quoque ite jam sane dulces Camenae (nam fatebimur verum, dulces fuistis): et tamen meas chartas revisitote, sed pudenter et raro.

Теперь он отправился к Сиро, философу-эпикурейцу, который, будучи тесно связан с многоликим Филодемом, руководил очень популярной школой-садом в Неаполе, фактически превосходившей первоначальную школу в Афинах. Не исключено, что именно здесь учился сам Лукреций.

Следует иметь в виду, что последующие годы изучения философии были проведены в Неаполе - тогда греческом городе - и в основном среди греков. Этот факт дает ключ ко многим произведениям Вергилия. В наших биографиях центром деятельности Сиро почему-то считается Рим, хотя свидетельства в пользу Неаполя безошибочны. Не только Вергилий говорит о путешествии (Catal. V. 8):

Nos ad beatos vela mittimus portus

Magni petentes docta dicta Sironis,

и Сервий говорит, что Неапольская школа, и Кирис упоминает Кекропус хоррулус, и Цицерон во всех своих упоминаниях помещает Сиро на берегу Неаполитанского залива,[1] но фрагмент геркуланумского свитка Филодема указывает на садовую школу в пригороде Неаполя.

[Сноска 1: De Fin. II. 119, Кумская вилла; Acad. II. 106, Баули; Ad. Fam. VI. 11.2; Весториус - неаполитанец; из. класса. Фил. 1920, стр. 107, и далее. Jour. Филология, XLI, 115. Для получения других возможных ссылок см. Am. Jour. Фил. 1920, XLI, 280 след.]

Даже после смерти Сиро - около 42 года до н.э. - Вергилий, по-видимому, оставался в Неаполе, вероятно, унаследовав виллу своего учителя. В 38 году он вместе с Варием и Плотием прибыл из Неаполя в Синуэссу, чтобы присоединиться к отряду Мецената в их путешествии в Брундизий; Вергилий написал "Георгики" в Неаполе в тридцатых годах (Georg. IV. 460), и Донат действительно замечает, что поэта редко видели в Риме.

По мере того, как обугленные фрагменты свитков Филодема публикуются один за другим, мы начинаем понимать, что изучающие Вергилия не смогли оценить влияние, которое, должно быть, оказало молодому поэту эти годы его жизни в греческом городе в ежедневном общении с восточными философами, такими как Филодем и Сиро. После смерти Федра эти люди, несомненно, были лидерами своей секты; по крайней мере, Асконий называет бывшего *illa aetate nobilissimus* (в Pis. 68). Цицерон представляет их как *homines doctissimos* еще в 60 году до нашей эры, и хотя в своей тираде против Пизона - за десять лет до вступления Вергилия в школу - он, должно быть, бросил несколько оскорблений в адрес учителя Пизона, он старательно хвалит как его ученость, так и его поэзию. Действительно, кажется, что в "De finibus" Цицерона и "De natura deorum", написанных много лет спустя, немало прямого использования работ Филодема. В любом случае, по крайней мере, Катулл, Гораций и Овидий позволили себе перефразировать некоторые из его эпиграмм. И эти стихи вполне могут предостеречь нас от предположения, что человек, который смог привлечь к своим лекциям и дружескому общению некоторых из самых ярких личностей того времени, адекватно представлен в скупых противоречивых эссе, подготовленных его библиотекой. Эти эссе написаны по стандартному типу и не обязательно раскрывают реального человека. Однако даже они выдают человека, не полностью ограниченного *ipsa verba* Эпикура, поскольку проявляют больший интерес к риторическим предписаниям, чем основатель школы; они более благожелательно относятся к религии среднего человека и не в малой степени озабочены государственными делами. Все это указывает на здоровую реакцию, которой подвергся не один философ, вступив в контакт с

римскими светскими людьми, но это также, несомненно, отражает тенденции сирийской ветви школы, из которой он вышел; поскольку сирийской группе пришлось отбросить часть своего традиционного фанатизма и приобрести несколько социальных достоинств и капельку житейской мудрости за время длительного общения с великолепным двором Селевкидов.

Филодем сам был уроженцем Гадары, этой несчастной македонской колонии к востоку от Галилейского моря, которая во времена ранней юности нашего философа находилась под еврейским правлением. Он учился у Зенона Сидонского, которого Цицерон также слушал в 78 году, искусного учителя, чьи последователи и ученики, Деметрий, Федр, Патрон, вероятно, также Сиро и, конечно, Филодем, привлекли в свою секту значительную часть самых влиятельных римлян.[2]

[Footnote 2: *Italiam totam occupaverunt. Cic. Tusc. IV, 7.*]

О том, как Филодем учил своих богатых римских покровителей и учеников ценить не только его кредо, но и всю линию мастеров, начиная с Эпикура, мы можем узнать на Геркуланской вилле, где была найдена его собственная библиотека, поскольку в ней находился настоящий музей достойных эпикурейцев вплоть до Зенона, возможно, не исключая и самого учителя, если бы мы могли идентифицировать его портрет.[3]

[Сноска 3: См. Класс. Филология. 1920, стр. 113.]

Список влиятельных римлян, присоединившихся к секте в этот период, примечателен, хотя, конечно, в наших случайных ссылках мы приводим лишь небольшую часть от общего числа. Здесь были Цезарь, его тесть Пизон, покровитель Филодема, Манлий Торкват, консулы Гиртий, Панса и Долабелла, Кассий освободитель, Требатий юрист, Аттик, друг Цицерона на всю жизнь, забавные корреспонденты Цицерона Паэт и Каллус, и многие другие. Некоторых из них привлекала, возможно, философия непринужденности, которая освобождала их от опасной политической деятельности ради наслаждения своими виллами на берегу Неаполитанского залива. Но для большинства римлян наибольшая привлекательность этой доктрины заключалась в ее представлении осязаемого объяснения вселенной, поскольку они устали от детской веры и были слишком практичны, чтобы иметь терпение к метафизическим теориям, которые теперь давно поставлены под сомнение и непонятны иначе, как с помощью утомительного применения сомнительной логики.

Товарищами Вергилия по "Кекропию гортуну", которым суждено было стать его друзьями на всю жизнь, были, по словам Проба, Квинтилий Вар, знаменитый критик, Варий Руф, автор эпосов и трагедий, и Плотий Тукка. О своей ранней дружбе с Вариусом он оставил воспоминание в Каталептонах I и VII, с Варом - в эклоге VI. Гораций не раз соединял все эти имена в своих стихах.[4] То, что четверо друзей продолжали поддерживать близкие отношения с Филодемом, явствует из фрагментов свитков.[5]

[Сноска 4: Ср. Гор. Сб. i. 5.55; i. 10. 44-45 и 81; Карм. i. 24.]

[Сноска 5: *Rhein. Mus.*, 1890, стр. 172. Имена Квинтилия и Вариуса встречаются дважды; остальные слишком фрагментарны, чтобы быть уверенными, но пробел требует упоминания имен длиной [греч. *Plo*]tie] и [греч. *Ou*[*ergilie*], а постоянное общение этих четырех человек делает восстановление весьма вероятным.]

Об общем вопросе влияния Филодема на Вария и Вергилия, Вара и Горация, критиков и поэтов, сформировавших идеалы литературы эпохи Августа, сейчас еще не время говорить. Будет трудно когда-либо решить, насколько эти люди черпали свои материалы из воспоминаний о своих аудиториях; зависела ли, например, смерть Вариуса от смерти его учителя [греч. *peri thanatou*], как было предложено, или в какой степени Гораций использовал [греч. *peri orgaes*] и [греч. *peri kakion*], когда писал свои первые два послания, или [греч. *peiri kolakeias*], когда он инструктировал своего молодого друга Лоллия, как вести себя при дворе, или именно этот учитель первым привлек внимание Биону, Неоптолему и Мениппу; и это не имеет большого значения, поскольку ценность этих работ заключалась скорее в искусстве выражения и своевременности их учения, чем в оригинальности взглядов.

В теории поэтического искусства во многих отношениях существует заметная разница между классическими идеалами римской группы и довольно роскошными стихами Филодема, но он тоже признавал ценность сдержанности и простоты, как показывают некоторые из его эпиграмм. Более того, его теории литературного искусства часто согласуются с "Ars Poetica" Горация в тех самых аспектах целомудренной дикции и точного выражения, которые подчеркивала эта группа августинцев. Современники Горация не удивились бы, если бы он повторил максимы Филодема, когда писал эссе сыну и внукам покровителя Филодема. Однако, после всего сказанного, Вергилий подвергал сомнению некоторые александрийские идеалы искусства до того, как попал под влияние Филодема, и седьмой Каталептон дает намек на то, что Варий мыслил как Вергилий. Не исключено, что Квинтилий Вар, старший друг Вергилия и соратник-транспаданец, который вырос близким другом Катутла и Кальва, имел в этих вопросах более сильное влияние, чем Филодем.

Однако у Вергилия есть определенные повороты настроения, которые выдают неримский колорит тому, кто приходит к Вергилию непосредственно после чтения писем Лукреция, Катутла или Цицерона. Это особенно верно в отношении восточного проскинеза, обнаруженного в самой первой эклоге и развившегося в полное "поклонение императору" в посвящении Георгики. Этот язык, впервые использованный здесь римским поэтом, нельзя объяснить простой благодарностью за великие милости. Это нельзя удовлетворительно объяснить даже предположением, что молодой поэт несколько рабски следовал какой-то эллинистической модели. Катутл перефразировал александрийских поэтов, но вряд ли он мог вставить отрывок такого значения. И это не было простой лестью, поскольку Вергилий в своих откровенных похвалах Катону, Бруту и Помпею показал, что он пишет не просто по приказу. Нет, эти отрывки из Вергилия демонстрируют последствия долгих лет общения с греками и выходцами с Востока, которые пропитали его разум выражениями и чувствами, которые теперь казались ему естественными, хотя они, должно быть, удивили многих читателей в Риме. Его учителя в Неаполе выросли в Сирии и, кроме того, унаследовали традиции сирийского отделения школы, которое научилось приспособливать свой язык к прихотям обожествленных монархов-Селевкидов. Как эпикурейцы, они также использовали священные имена без особого почтения. Разве сам Антиох Эпифан не был "богом", в то время как как член секты он принижал божественность?

Неаполь тоже был греческим городом, всегда наполненным восточными торговцами, и они несли с собой язык подвластных рас. Именно в Помпеях были найдены самые ранние надписи на итальянской земле, в которых упоминается императорский культ, и именно в Кумах был обнаружен лучший образец культового календаря. Это одна из немногих ноток в творчестве великого поэта, которая раздражает нас, но когда он писал так, как писал, он, вероятно, не

осознавал, что годы проживания в "саду" действительно приучили его ухо к некоторым не римским звукам.[6] Октавиан, конечно, не был в неведении о преимуществах, которые давала правителю восточная теория абсолютизма, и украдкой принимал все подобные выражения. К тому времени, когда Вергилий написал "Энеиду", римский мир смирился, но затем, к нашему удивлению, Вергилий перестал приписывать Августу божественные качества.

[Примечание 6: Юлий Цезарь начал оказывать чрезвычайные почести еще в 45 году до н.э. в политических целях, но римская литература, похоже, в то время не придавала им никакого значения.]

Опять же, я бы предположил, что именно в Неаполе Верджилий, возможно, наиболее легко натолкнулся на "мессианские" идеи, которые встречаются в четвертой эклоге, поскольку, несмотря на все возражения, которые были выдвинуты против использования этого слова, там встречаются концепции, которые еще не были натурализованы на Западе. Ребенок, о котором идет речь, мыслится как Сотер, деяния которого поэт надеется воспеть (стр. 54), и, более того, строки 7 и 50 безошибочно содержат восточную идею *naturam parturire*, как формулирует это Светоний (август 94). Совершенно независимо от вероятности того, что гадаринец мог сплетничать за столом о мессианских надеждах евреев, о которых он, конечно, знал, невозможно представить, чтобы он никогда не выдавал своего знания или интереса к пророческим идеям, которыми изобиловала его родная страна. Мелеагр, также гадаринец, сохранил воспоминания о людях своей родины в своих стихах, а Цецилий Калеактский, который, по-видимому, находился в Италии примерно в это время, не ограничивался цитированием Моисея в своих риторических произведениях.[7]

[Сноска 7: Обычно предполагается, что его книга послужила источником цитаты из Псевдо-Лонгина.]

Более того, Неаполь был естественным пристанищем всех тех греческих и восточных раторов и философов, историков, поэтов, актеров и художников, которые перебрались в Рим из разрушающихся дворов Александрии, Антиохии и Пергама. Там они могли найти благоприятное окружение, находя богатых покровителей на многочисленных виллах праздных богачей поблизости, и туда они удалялись на время отпуска, если необходимость призывала их в Рим для выполнения более трудных задач. Андроник, сирийский эпикурейец, привезенный в Рим Суллой, обосновался в близлежащих Кумах; Архий, клиент Цицерона, тоже из Сирии, проводил много времени в Неаполе, и там жил поэт Агафокл; Парфений Никейский, которому первые августы были глубоко обязаны, преподавал Вергилия в Неаполе. О других выходах с Востока, таких как Александр, написавший историю Сирии и евреев, и Тимаген, историк диадохов, случайно не сообщается из Неаполя, но мы можем с уверенностью предположить, что большинство из них проводили там все свободное время, какое только могли.

Путеолы все еще оставались портовым городом Рима, как и всей Центральной Италии, и сирийцы были тогда посредниками в средиземноморской торговле.[8] Это одна из причин, по которой оракулы Аполлона в Кумах и некроматическая пещера Гекаты на озере Аверн все еще процветали. Когда Вергилий исследовал этот регион, как показывают подробности шестой книги, он, должно быть, это сделал, у него была возможность узнать больше, чем просто географические подробности.

[Сноска 8: Франк, Экономическая история Рима, глава xiv.]

О том, что у Вергилия перед глазами была глава II книги Исаяи, когда он писал четвертую эклогу, конечно, не может быть и речи; нет ни одной близкой параллели того рода, которую Вергилий обычно позволяет себе заимствовать из своих источников; мы даже не можем быть уверены, что он видел что-либо из сивиллиных оракулов, которые теперь можно найти в третьей книге сборника, содержащего столь странный синкретизм митраистских, греческих и еврейских концепций, но мы больше не можем сомневаться, что в целом он был хорошо информирован и довольно основательно пронизанный такими мистическими и апокалипсическими настроениями, которые хорошо известны каждому гадаринцу и любому греку с Востока. О его любви к Риму хорошо говорит тот факт, что, несмотря на эти влияния, именно он создал самый насквозь националистический эпос, когда-либо написанный.

Первым плодом изучения Вергилием эволюционной науки в Неаполе была "Этна", если это действительно его поэма. Проблема авторства была терпеливо изучена, и аргументы в пользу подлинности, кратко изложенные Вессеро [9], убедительно доказывают это. Доказательства вкратце таковы. Сервий приписал это стихотворение Вергилию в своем предисловии и снова в своем комментарии к "Энеиде", III, 578. Донат, похоже, тоже так делал, хотя некоторые из наших рукописей его Жизнеописания содержат фразу *de qua ambigitur*. Опять же, тексты Этны, которые у нас есть, также согласуются с этим описанием. Внутренние свидетельства доказывают, что стихотворение относится к периоду между 54 и 44 годами, что превосходно соответствует заявлениям Вергилиана. Его тесная зависимость от Лукреция дает первую дату, упоминание о "Медее" художника Тимомаха как находящейся за границей, работе, которая была привезена в Рим между 46 и 44 годами, дает вторую. Наконец, "Этна" написана исследователем эпикурейской философии, на которую в значительной степени повлиял Лукреций. Было бы трудно привести более веские доводы, если бы не одновременная атрибуция. Разве сам Вергилий не упоминал Этну в предисловии к своей "Цирис", где он благодарит муз за их помощь в заумной поэме (стр. 93)?

Quare quae cantus meditantis mittere caecos[10]

Magna mihi cupido tribuistis praemia divae.

Какое еще стихотворение он мог иметь в виду? Название не подходит к Кулексу, который является единственным стихотворением, кроме Этны, о котором может идти речь. Поэтому лучше всего учитывать Этну [11] при изучении жизни Вергилия, даже если мы оставляем место в наших воспоминаниях для этой случайной фразы *de qua ambigitur*.

[Сноска 9: Вессеро, Этна, XX и далее.; Рэнд, Гарвардские исследования, XXX, 106, 155 и далее. Трудно избежать вывода, что Сенека приписал Этну Вергилию в *ad Lucilium* 79, 5: слова "Полное изложение Вергилия" вряд ли могут относиться к семи скудным строкам, найденным в третьей книге "Энеиды".]

[Сноска 10: Лукреций очень любит использовать слово *caecus* по отношению к заумным и неясным философским и научным предметам.]

[Сноска 11: Когда Вергилий написал "Георгику" на тему, которую поэт Этны высмеивает как тривиальную (264-74), он, кажется, извиняется за отказ от науки в пользу более низкой темы, "Георгика" II, 483 и далее. Разве это не отсылка к Этне?]

Поэт после обращения к Аполлону оправдывает себя за отказ от любимых тем мифов и художественной литературы: тайны природы более достойны того, чтобы занять усилия ума. Он выбрал один из очень многих, который нуждается в объяснении. Истинная причина извержения вулкана, говорит он, заключается в том, что воздух проникает в поры земли, и когда он вступает в контакт с лавой и кремнем, которые содержат атомы огня, это создает взрывы, которые вызывают такие разрушения. После повторного приглашения читателю оценить ценность такой темы он рассказывает историю двух братьев из Катании, которые, когда другие беженцы из-за взрыва Этны спасали свои мирские блага, рисковали своими жизнями, чтобы спасти своих родителей.

Стихотворение не является удачным экспериментом. Нет недостатка в энтузиазме по поводу предмета, несмотря на тот факт, что наука того времени была совершенно неадекватна теме. Но Вергилий вряд ли мог осознать это, поскольку и стоики, и эпикурейцы приняли теорию взрывающихся ветров. Настоящая проблема темы заключается в ее безнадежно прозаическом уродстве. Лукреций, благодаря своей силе воображения, очевидно, обманул его, заставив думать, что к любому фрагменту науки можно относиться поэтически. В его учителе "пылающие потоки атомов" достигли возвышенности платонического видения, и сама величественная печаль его материализма сбила молодого поэта с ног. Но механизм Этны оставался всего лишь головоломкой, мало вызывающей благоговейный трепет, и тема по сути своей не содержала в себе глубокого значения для человечества - которым, в конце концов, должна обладать научная проблема, чтобы поддаваться поэтической обработке. Поэт действительно осознал все это еще до того, как закончил. Он стремился, при недостаточных ресурсах, вызвать чувство благоговения при описании извержения вулкана, убедить читателя в его собственном энтузиазме по отношению к научному предмету, доказать гуманистическую ценность своей проблемы, утверждая ее антирелигиозную ценность, и, наконец, в характерном для Тернера навязывании человеческих существ рассказать историю братьев Катаниан. Но хотя эта попытка делает честь его эстетическим суждениям, тема была неисправима. Возможно, недавние извержения Этны - о них сообщается в 50 и 46 годах до нашей эры - вызвали к этой теме больший интерес, чем она того заслуживала. Мы можем себе представить, как беженцы из Катании стекались в Неаполь и рассказывали о своих страданиях.

В стихотворении есть еще один элемент, столь же значительный, сколь и прозаичный, - придирака к поэтическим обычаям, которая напоминает читателю лекции Филодема. Филодем, говорит ли он о философии, музыке или поэзии, всегда начинает с негатива. Он не чувствует себя счастливым, пока не разобьет своих предшественников и противников. Автор "Этны" слишком хорошо усвоил этот схоластический метод, и его резкость обычно уводит читателя в сторону еще до того, как он доберется до центральной темы. Конечно, в "Георгике" осталось совсем немного этого тона - у Лукреция он тоже есть, - но "Энеида" полностью освободилась.

Компенсация читателю заключается не столько в эпизодических мифах, описаниях и рассказе в конце, апологетически вставленном в теорию Лукреция о подслащенном лекарстве, сколько в заразительном энтузиазме поэта к своей науке, трепете открытия и чувстве чуда (1. 251):

Divina est animi ac jucunda voluptas!

Мужчины достаточно времени потратили впустую на тривиальности (258):

Torquemur miseri in parvis, terimurque labore.

Более достойное занятие - наука (274):

Implendus sibi quisque bonis est artibus: illae

Sunt animi fruges, haec rerum est optima merces.

И наука должна быть достойна божественного величия человека (224):

Non oculis solum pecudum miranda tueri

More nec effusis in humum grave pascere corpus;

Nosse fidem rerum dubiasque exquirere causas,

Ingenium sacrare caputque attollere caelo,

Scire quot et quae sint magno fatalia mundo

Принципы.

Может быть, это и проза, но в ней немало великолепия лукрецианской логики. Человек, написавший это, был, по крайней мере, духовным родственником Вергилия.

VI

ЭПИГРАММА И ЭПОС

Годы пребывания Вергилия в Неаполе были, пожалуй, самыми насыщенными событиями в долгой истории Рима, и мы можем быть уверены, что ничто, кроме хрупкого телосложения, не могло спасти человека его возраста от учебы в те годы. После битвы при Фарсалии в 48 году Цезарь, помимо месяца лотоса в Египте, усмирил восточные провинции, затем в 46 году усмирил остатки сенаторов в Африке, доведя Катона до смерти, а в сентябре того же года отпраздновал свой четырехкратный триумф с великолепием, о котором до сих пор и мечтать не приходилось. Вся Италия отправилась посмотреть на это зрелище, и, несомненно, Вергилий тоже; ибо именно здесь, если мы не ошибаемся, он впервые решил написать эпос о Риме. 45 год ознаменовался разгромом остатков помпеевцев в Испании и первыми приготовлениями к великой парфянской экспедиции, которая, как всем было известно, должна была привести к установлению новой монархии. Затем последовал внезапный удар, повергнувший Цезаря, гражданская война, возвысившая Антония и Октавиана и приведшая Цицерона к смерти, и, наконец, победа при Филиппах, положившая конец всякой надежде на республику. Несмотря на всю эту суматоху, философская группа "Сада" продолжала заниматься наукой, комментируя, как мы увидим, происходящие события.

"Этна", которая, по-видимому, датируется примерно 47-6 годами, показывает молодого философа, если это Вергилий, в серьезном настроении беззаветной преданности своему новому занятию. Но, как можно заключить из пятого Каталептона, он не был уверен в том, что не отступит. К влиянию Катулла, ясно заметному во всех этих коротких стихотворениях, добавился пример Филодема, который время от времени писал эпиграммы. Некоторые из Каталептонов могут относиться к этому периоду. Самое первое,[1] адресованное другу Вергилия на всю жизнь Плотию Тукке, представляет собой забавную безделицу в духе Филодема. Четвертая, как и

первая в элегиях, является любезной данью уважения уходящему другу Мусе, возможно, его земляку Октавиусу Мусе.[2] Она заканчивается великодушным выражением беспрекословной дружбы, которая не требует возврата:

Quare illud satis est si te permittis amari

Nam contra ut sit amor mutuus, unde mihi?

[Сноска 1:

Dequa saepe tibi, venit? sed, Tucca, videre

Non licet. Occulitur limine clausa viri.

Dequa saepe tibi, non venit adhuc mihi; namque

Si occulitur, longe est tangere quod nequeas.

Venerit, audivi. Sed iam jnihi nuntius iste

Quid prodest? illi dicito cui rediit.]

[Сноска 2: см. Гораций, Сб. I. 10, 82; Сервий на Екл. IX. 7; Берн

Схолия на Екл. VIII. 6.]

Именно этой чертой, несомненно, объясняется вспышка восхищения Горация.

Animae quales neque candidiores

Terra tulit.

Седьмая - эпиграмма, в которой Вариус слегка подшучивает над его требовательностью к чистой дикции. Крестовому походу за чистоту слова аттики дали новый импульс десять лет назад, и отсюда мы можем сделать вывод, что Варий, давний друг Катулла, считался хранителем этой традиции. Вергилий, несмотря на свою приверженность аккуратной технике, возможно, испытывал опасения по поводу правил, которые в конечном итоге ставят под угрозу свободу поэта. Его ранние работы очень широко варьировались в своих стилевых экспериментах, а "Поэтическое искусство Горация", написанное много лет спустя, показывает, что экстремисты до самого конца критиковали Вергилия за вольности с языком. Эпиграмма начинается так, как если бы это была эротическая поэма в стиле Филодема. Затем, употребив греческое слово *pothos*, он сдерживается, словно опасаясь неодобрительного взгляда Вариуса, и заменяет его латинским словом *puer*,

Scilicet hoc fraude, Vari dulcissime, dicam:

"Dispeream, nisi me perdidit iste pothos."

Sin autem praecepta vetant me dicere, sane

Non dicam, sed: "me perdidit iste puer."

Для понимания личных намеков в шестой и двенадцатой эпиграммах мы пока не обнаружили ключа, и поскольку это мелочи, не имеющие поэтической ценности, мы можем ими пренебречь.

Четырнадцатый, однако, представляет очень большой интерес. Предполагается, что это обет, произносимый перед святилищем Венеры в Сорренто с обещанием даров преданности в обмен на помощь в составлении истории о троянце Энее.

Si mihi susceptum fuerit decurrere munus,

O Paphon, o sedes quae colis Idalias,

Troius Aeneas Romana per oppida digno

Я ем тандем с текумом кармине вектус:

Non ego ture modo aut picta tua templa tabella

Ornabo et puris sertis feram manibus -

Corniger hos aries humilis et maxima taurus

Victima sacro sparget honore focos

Marmoreusque tibi aut mille coloribus ales

In morem picta stabit Amor pharetra.

Adsis o Cytherea: tuos te Caesar Olympo

Et Surrentini litoris ara vocat.

До сих пор стихотворение относилось к периоду двадцатилетней давности. Но, конечно, это юношеское брожение надежды и тревоги не отражает самообладания человека, который уже опубликовал "Георгику". Нетерпеливое подношение цветов и разноцветная статуя Купидона скорее напоминают юношу, который в Кирисе просил вдохновения с руками, полными лилий и гиацинтов.

Однако мы не можем полностью полагаться на догадки. Существуют неопровержимые свидетельства того, что Вергилий начал эпос в это время, примерно за пятнадцать лет до того, как опубликовал "Георгику". Кажется очевидным также, что эпос был "Энеидой" с Юлием Цезарем на заднем плане и что части раннего эпоса были окончательно объединены в великое произведение его зрелости. Этот вопрос имеет такое значение для изучения развивающегося искусства Вергилия, что мы можем быть вправе полностью углубиться в доказательства [3]. Так получилось, что нам повезло, что у нас есть несколько ссылок на эту раннюю попытку. Девятый Каталептон, написанный в 42 году, упоминает о стремлении поэта написать национальную поэму, достойную места среди великих классиков Греции (стр. 62):

Si patrio Graios carmine adire sales.

Шестая эклога начинается с упоминания о нем:

Prima Syracusio dignata est ludere versu

Nostra, nec erubuit silvas habitare Thalia.

Cum canerem reges et proelia, Cynthus aurem

Vellit et admonuit, pastorem Tityre pinguis

Pascere oportet oves, deductum dicere carmen.

[Сноска 3: Cp. Classical Quarterly, 1920, 156.]

Это можно перефразировать так: "Моя первая песня - the Culex - была пасторальной. Когда позже я попытался спеть о королях и битвах, Феб предупредил меня вернуться к моей пастушьей песне ". К этому отрывку у Сервия есть комментарий: значение aut Aeneidem aut gesta regum Albanorum. Наконец, Донат в своей "Житии" прямо говорит: *mox cum res Romanas inchoasset, offensus materia, ad Bucolica transit* . Следовательно, поэма была опубликована до "Буколиков". Мы можем предположить, что смерть Цезаря, чьи деяния, по-видимому, навели Вергилия на мысль о такой поэме, заставила его отложить это произведение в сторону.

Возвращаясь к четырнадцатому Каталептону, мы находим то, что кажется определенным ключом к дате и обстоятельствам его написания. Заключительные строки таковы:

Adsis, o Cytherea: tuos te Caesar Olympo

Et Surrentini litoris ara vocat.

Именно 26 сентября 46 года до нашей эры Юлий Цезарь столь поразительно привлек внимание к своим заявлениям о происхождении от Венеры и Энея, посвятив храм Венере Генетрикс, матери рода Юлиев. Именно в тот день Цезарь "призвал Венеру с небес", чтобы она поселилась в своем новом храме.[4]

[Сноска 4: Кассий Дион, 43, 22; Аппиан, II. 102. Есть независимые доказательства того, что Каталептон XIV более ранний, чем Георгики. В Георгиках II, 146, Вергилий повторяет фразу *maxima taurus victima*, но фраза, должно быть, произошла от Каталептона, поскольку здесь *maxima* уравнивает *humilis*. В георгике эта фраза является всего лишь словесным напоминанием, поскольку в контексте нет ничего, что объясняло бы максимы. О порядке составления "Энеиды" см. М.М. Крамп, "Развитие Энеиды"]

Не этот ли поступок натолкнул меня на счастливую идею написать эпос об Энее? Вергилий тогда жил в Неаполе, и мы можем представить себе поэта, охваченного новым порывом, уплывающего со своих лекций через прекрасный залив, чтобы провести день в размышлениях. Можно ли найти более подходящее место для обращения к "Энеиде", чем святилище Венеры в Сорренто?

Как далеко зашла эта первая попытка, мы, вероятно, не узнаем. Собственные слова Вергилия подразумевают, что его ранние усилия были сосредоточены на войнах Энея в Италии; шестая эклога,

Cum canerem reges et proelia,

довольно четко сформулирован по этому вопросу. Более того, ошибочная ссылка "знамения Калано" на "Анхиса" в седьмой книге (стр. 122) указывает на то, что эта часть, по крайней мере, была написана до сцены с гарпиями в третьей, поскольку последняя настолько обширна, что поэт вряд ли мог забыть ее, если бы она уже была написана.

Однако, я думаю, что при чтении первой и пятой книг мы сможем извлечь наибольшую пользу, если будем помнить о том факте, что поэт начал "Энеиду" еще до смерти Цезаря. В книге I, 286 и далее, встречается отрывок, который Сервий упомянул о Юлии Цезаре. Он гласит:

Nascetur pulchra Troianus origine Caesar,

Imperium Oceano, famam qui terminet astris,

Iulius, a magno demissum nomen Iulo.

Hunc tu olim caelo, spoliis Orientis onustum,

Нападает на секуру; заботится о своем деле.[5]

[Сноска 5: Следующие строки (291-6) относятся к последующему правлению Августа, на что поэт осторожно указывает словами *tum positis-bellis*.]

Очень немногие современные редакторы осмелились принять здесь суждение Сервия, и все же, если мы сможем рассматривать эти строки как заимствованные из (скажем) оригинального посвящения Юлию Цезарю, написанного около 45 года до н.э., трудности комментаторов исчезнут. Факты, которые, по-видимому, имеет в виду Вергилий, таковы: в сентябре 46 года до нашей эры Юлий Цезарь, вернувшись из Тапса, отпраздновал свои четыре великих триумфа над Галлией, Египтом, Понтом и Африкой, демонстрируя такие богатства добычи, каких никогда прежде не видели в Риме. Затем он провел расширенную серию спортивных игр, подобных тем, что описаны в пятой книге Вергилия, включая восстановление древнего людуса Трои. Когда с этим было покончено, он посвятил храм Венере Генетрикс, тем самым публично объявив о своем происхождении от Венеры, и вскоре более явно провозгласил свой собственный сверхчеловеческий ранг, установив свою статую среди богов на Капитолии (Dio, XLIII, 14-22). Разве фразы *imperium Oceano* и *spoliis Orientis onustum* не являются прямой отсылкой к этому триумфу, который, конечно же, видел Вергилий? И разве не эти посвящения вдохновили пророчество *uos abitur hic quoque uotis*? Как бы то ни было, в данном случае Сервию трудно отказать в доверии, поскольку здесь Вергилий (I, 267-274 и 283) принимает утверждение Юлия Цезаря о происхождении от Юла, тогда как в шестой книге, говоря о происхождении римской королевской линии, он выводит ее, как это регулярно делалось во времена Августа, от Сильвия, сына Энея и Лавинии (VI, 763 и далее). Мы должны также заметить, что в "Энеиде", как и в Георгиках, Августа регулярно называют "Августом Цезарем". " или "Цезарь", тогда как в единственных других упоминаниях Юлия в "Энеиде" поэт прямо указывает на него, говоря "Цезарь и все его потомки" (VI, 789).

Следовательно, Сервий, по-видимому, прав, считая Юлия героем отрывка из первой книги, и из этого следует, что отрывок содержит воспоминания о 46 году до н.э., независимо от того, были ли эти строки, как я предполагаю, впервые написаны вскоре после триумфа Цезаря.

Пятая книга также, несмотря на то, что ее начало и конец написаны поздним почерком, содержит многое, что лучше всего соотносится с ранними годами творчества Вергилия. Например, легче понять ссылки поэта на Меммия, Катилину и Клуенция в сороковые годы, чем двадцать лет спустя.

Странное сравнение Вергилием Мессаллы с верховным Эриком в "Каталептоне IX", написанном в 42 году до н.э.[6], также легко объясняется, если мы можем предположить, что он

недавно изучал миф об Эриксе в рамках подготовки к состязанию в книге V (11. 392-420).

Энтузиазм поэта по поводу *ludus Troiae* хорошо понятен как описание того, что он увидел при повторном представлении спектакля Цезарем в 46 году. На играх Цезаря Октавиан, которому тогда было шестнадцать лет, должно быть, возглавлял одно из войск:[7] в пятой книге Атис, предок Октавиана по материнской линии, возглавлял одну колонну рядом с Иулом:

Alter Atys, genus unde Atii duxere Latini (1. 568).

[Сноска 6: см. Главу VIII.]

[Сноска 7: В кратком рассказе Николая Дамасского (9) упоминается, что

Октавий отвечал за греческие пьесы на триумфальных играх.]

Кроме того, признаки молодости пронизывают все содержание книги. Сомнительные остроты, возможно, можно было бы отнести за счет попытки снять напряжение, но в них необычно много подражания Гомеру и нехудожественных отсылок к современникам, которые, как и в юношеских буколиках, разрушают драматическую иллюзию. Таким образом, Вергилий не только подробно останавливается на происхождении Меммия, Сергия и Клуэнтия, но и настаивает на напоминании читателю о заговоре Катилины в Сергестусе, *furens animi*, который бросается на скалу в своем безумном стремлении победить, и навязывает этимологию фразе *segnem Menoeten* (1. 173). Возникает соблазн заподозрить, что все повествование о лодочных гонках наполнено прагматическими намеками. Если персонажи его эпоса должны быть связаны с известными римскими семьями, то, по крайней мере, интересно, что эти связи указаны в пятой книге, а не в отрывках, где имена впервые встречаются читателю. Не кажется ли вам, что основная часть книги была составлена задолго до остальных, а затем, после смерти поэта, оставлена не совсем доработанной для придирчивого вкуса более поздних дней?

Наконец, я бы предположил, что странное и до сих пор необъяснимое [8] предзнаменование горящей стрелы Акеста в 11.520 году до н.э., вероятно, относится к какому-то важному для Сегесты событию в том же 46 году до н.э. Автор "Африканского воинства" сообщает нам, что Цезарь собрал свои войска для африканской кампании в Лилибее зимой 47 года. Нам не сообщается, что, находясь там, он поднялся на гору, принес жертвы Венере Эрицине и приказал установить свою статую в ее храме, или что он оказывал милости жителям Сегесты, которые заботились об этом храме. Но он, вероятно, сделал что-то в этом роде, поскольку, поскольку он уже поклялся в своем храме Венере-Прародительнице, он вряд ли мог оставаться восемь дней в Лилибее так близко к святилищу Венеры Энея без какого-либо акта сыновней преданности. Если бы Вергилий написал какую-либо часть пятой книги в 46 году или вскоре после него, это, по-видимому, было бы разгадкой неясного отрывка, о котором идет речь.

[Сноска 8: См., однако, ДеВитт, "Стрела Акеста", *Am. Jour. Phil.* 1920, 369.]

Таким образом, при изучении "Энеиды" важно иметь в виду тот факт, что сюжет, вероятно, формировался и многие эпизоды были заблокированы, когда Вергилий был молод, а Юлий Цезарь все еще был доминирующей фигурой в Риме. Многие сцены, помимо тех, что приведены в пятой книге, могут обрести новый смысл в этом предложении. Разве это не объясняет, почему так много черт в характере Дидоны неотразимо наводят на мысль о Клеопатре, [9] почему половина строк четвертой книги напоминает о времяпрепровождении Цезаря в Египте в 47 году? Разве затянувшиеся батальные сцены последней книги - в остальном такие не

вергилиановские - не напоминают о нескончаемых кампаниях Цезаря против врагов, появляющихся со всех сторон, и о том факте, что Вергилий сам недавно участвовал в этой борьбе? Юный Октавий, чье отрочество так сочувственно описано Николаем (5-9) - всегда лидер среди своих товарищей, но всегда преданный и щедрый, - кажется, смотрит сквозь портрет Аскания.[10] Воспоминания Вергилия о школьном мальчике, получателе Кулекса, предводителе троянского отряда на играх Цезаря, шестнадцатилетнем юноше, просидевшем целый день на форуме в качестве городского префекта, кажутся совсем недавними на страницах эпоса.

[Сноска 9: Неттлшип, "Древние жизни Вергилия", 104; Вард Фаулер, "Религиозный опыт римского народа", стр. 415.]

[Сноска 10: См. Вард Фаулер, "Смерть Турна", стр. 87-92, о характере Аскания.]

Было бы тщетно пытаться выделить определенные строки и утверждать, что это были части юношеского стихотворения. Действительно, художественность большинства обсуждаемых стихов, как заметит любой читатель, больше соответствует более позднему произведению, чем "Кирису", написанному около 47-3 гг. до н.э. Можно с уверенностью сказать, что Вергилий в молодости не писал звучных строк "Эна". I, 285-290, точно так же, как они стоят сейчас. Но, как мы можем узнать из "Цири", которые Вергилий пытался скрыть, ни один поэт не более успешно ретушировал строки, написанные в юности, и не вставлял их в зрелые произведения, не оставляя следов процесса.

Критики всегда выражали свое восхищение всеобъемлющим размахом "Энеиды", ее глубиной изучения, законченным художественным мастерством и широким диапазоном наблюдений. Содержательный характер стихотворения не является для нас загадкой, если учесть, как долго его тема занимала сознание поэта.

VII

ЭПИКУРЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА

Цезарь пал в мартовские иды 44 года. Мирное философское сообщество в Геркулануме, "ищущее мудрости в повседневном общении", должно быть, испытало шок, подобный землетрясению, несмотря на эпикурейское презрение к политическим амбициям. Цезарь дружески относился к школе; его тесть Пизон был другом и покровителем Филодема на протяжении всей жизни и, если верить Цицерону, временами даже хорошим товарищем. Несколько ближайших друзей Цезаря были эпикурейцами с Неаполитанского залива. Их будущее полностью зависело от Цезаря. Долабелла был коллегой Антония в консульстве того года, в то время как Гиртий и Панса были выбраны Цезарем консулами на следующий год. Чтобы усилить шок, освободителей возглавил недавно обратившийся в школу Кассий.

Община в целом была цезарианской, и этот факт объяснялся не только отношениями Пизона к Филодему и дружеским отношением стольких последователей Цезаря, но и тем, что лидерами были транспаданцы: по крайней мере, Вергилий, Варий и Квинтилий. Но в Риме политическая борьба вскоре превратилась в соревнование, в ходе которого решалось не то, следует ли чтить режим Цезаря и продолжать его в семье - Октавий поначалу казался слишком молодым, чтобы

быть решающим фактором, - а то, сможет ли Антоний стать преемником Цезаря. Когда в июле Антоний переиграл Брута и Кассия, а Цицерон беспомощно бежал из Рима, именно Пизон вмешался в конфликт, но не для того, чтобы поддержать Брута и Кассия, а для того, чтобы помешать узурпации власти Антонием. Это дало Цицерону программу. В сентябре он выступил на ристалище против Антония; в декабре он принял поддержку Октавиана, который с поразительной для восемнадцатилетнего юноши отвагой собрал сильную армию из ветеранов Цезаря и поступил на службу Цицерону и Сенату в их войне против Антония. Весна застала новых консулов, Гирция и Пансу, обоих цезарианцев, при помощи Октавиана, наследника Цезаря, осаждающими Антоний по приказу сената в защиту Децима Брута, одного из убийц Цезаря! Таково было мастерство Цицерона в полководчестве. Конечно, цезарианцы были не совсем довольны таким поворотом событий. Успех Цицерона означал бы не только устранение Антония, против чего они не возражали, но и отзыв Брута и Кассия и последующее устранение их самих от политического влияния. Пизон, соответственно, начал колебаться. Заверяя сенат в своей неизменной поддержке их усилий по обезвреживанию Антония, он отказался следовать руководству Цицерона в попытке полного восстановления партии Брута. Филиппики Цицерона с немалой озабоченностью останавливаются на этой фазе вопроса.

Мы ожидали бы, что Садовая группа, дружественная памяти Цезаря, примет ту же точку зрения, что и Пизон, и по тем же причинам. Вряд ли они могли сочувствовать убийцам Цезаря. С другой стороны, у них не было причин поддерживать узурпацию власти Антония, и, похоже, им понравились филиппики Цицерона в той мере, в какой они нападали на Антония. Крайние меры были, однако, неприятны эпикурейцам, которые в целом не испытывали ничего, кроме осуждения гражданской войны. Однако решительная позиция Октавиана могла их только порадовать: внучатый племянник и наследник Цезаря, естественно, вызывал у них симпатию.

Недавно расшифрованный фрагмент Филодема[1] показывает, что учитель придерживался в своих лекциях той самой точки зрения, которую мы уже нашли у Пизона. Фрагмент короткий и искаженный, но многое проясняется: Филодем критикует партию Цицерона за то, что они довели нападение на Антония до таких крайностей, что из-за страха перед освободителями могла возникнуть реакция в пользу Антония. Мы находим отражение этой позиции даже у Вергилия. Разумеется, он никогда не говорит резко об освободителях; фактически, его косвенное упоминание Брута в "Энеиде" удивительно сочувственно для поэта эпохи Августа, но у нас есть две его эпиграммы, в которых он нападает на сторонников Антония в выражениях, напоминающих нам отрывки из филиппик Цицерона. Может показаться, что теперь Вергилий черпал темы для пасквилей из незабываемых фраз Цицерона[2], как это сделал Катулл примерно пятнадцатью годами ранее. Насколько сильно Вергилий не любил Антония, видно из знакомой строки в "Энеиде", в которой Сервий распознал намек на этого узурпатора (Aen. VI. 622):

Fixit leges pretio atque refixit.

[Сноска 1: Hermes, 1918, стр. 382.]

[Примечание 2: Некоторые критики предполагают, что три другие эпиграммы, VI, XII, XIII, являются прямыми нападками на Антония, но ключ к ним утерян, и достоверность больше недостижима.]

Если Сервий прав, перед нами снова напоминание о тех бурных годах. Это тоже кинжал из оружейной Цицерона. Снова и снова оратор в Филиппиках обвиняет Антония в том, что он использовал кольцо с печатью Цезаря для прибыльных подделок государственных документов. Интересно обнаружить, что школьный друг Вергилия Варий в своей поэме о смерти Цезаря под названием *De Morte*[3] впервые облек обвинения Цицерона в эффектные стихи:

Vendidit hic Latium populis agrosque Quiritum

Eripuit: fixit leges pretio atque refixit.

[Сноска 3: Некоторые недавние критики предположили, что стихотворение, возможно, было общим обсуждением страха смерти, но Вариуса постоянно называют эпическим поэтом (Гораций, Сб. I. 10, 43; Карм. I. 6 и Порфирио ad loc). Его поэма была написана до восьмой эклоги Вергилия, которую мы относим к 41 году до н.э. (Макробий, Сб. VI. 2. 20) и, вероятно, до девятой (см. I.36).]

Здесь тоже, должно быть, имеется в виду Антоний. Круг явно находился в согласии со своими политическими взглядами.

Два создания Антония, на которых напали Цицерон и Вергилий, - это Вентидий и Анний Кимбер. Эпиграмма на первое имеет форму пародии на стихотворение Катулла "Фазелл илль", которое Вергилий имел все основания запомнить, поскольку яхту Катулла отбуксировали по Минчо мимо дома Вергилия, когда тому было около тринадцати лет. Действительно, мы надеемся, что в тот день он был на рыбалке и поделился своим уловом с возвращающимися домой путешественниками. Пародии обычно не являются произведениями художественной ценности, и эта при всей своей эпиграмматической аккуратности не является исключением из правил. Но небезынтересно на мгновение застать поэта за игрой и узнать его мнение о каком-нибудь важном политическом персонаже.

У Вентидия была непростая карьера. После плена, возможно, рабства и вольноотпущенной свободы, Цезарь обнаружил, что он держит вереницу почтовых лошадей и вьючных мулов напрокат на великом Эмилианском пути, и призвал его на транспортную службу во время Галльской войны. Он внезапно стал важным человеком, и, конечно, Цезарь позволил ему, как и другим начальникам департаментов, получать прибыль от военных контрактов. Это был единственный способ удержать людей с большими способностями на очень маленьком официальном жалованье. Вергилий, несомненно, слышал о стремительном взлете этого муло еще в школе, поскольку почтовая дорога для огромных обозов с припасами Цезаря проходила через Кремону. После войны Цезарь вознаградил Вентидия еще больше, позволив ему баллотироваться в магистратуру и стать сенатором, что, конечно, шокировало знать. Погонщики мулов в Сенате! Этот человек, конечно, сменил фамилию, на предвыборных плакатах называл себя Сабинном, но Вергилий помнил, какое имя он носил в Кремоне. В конце концов Цезарь назначил его на судейскую скамью претором, и на этот высокий пост он вступил в 43 году. Он сразу же привязался к Антонию, который использовал его в качестве агента, чтобы купить службу ветеранов цезарианской армии для своей армии. Именно это вызвало гнев Цицерона, и Цицерон без колебаний разоблачил карьеру этого человека. Таким образом, пасквиль Вергилия интересен не только своей связью с Катуллом и собственными детскими воспоминаниями поэта, но и своими воспоминаниями о речах Цицерона и раскрытием его

собственных симпатий к партизанской борьбе. Поэму Катулла и пародию на Вергилия следует читать рядом, чтобы раскрыть смысл эпиграммы Вергилия.

Phaselus ille, quem videtis, hospites,
Ait fuisse navium celerrimus,
Neque ullius natantis impetum trabis
Nequisse praeterire, sive palmulis
Opus foret volare sive linteo.
Et hoc negat minacis Adriatici
Negare litus insulasve Cycladas
Rhodumque nobilem horridamque Thraciam
Propontida trucemve Ponticum sinum,
Ubi iste post phaselus antea fuit
Comata silva: nam Cytorio in iugo
Loquente saepe sibilum edidit coma.
Amastri Pontica et Cytore buxifer,
Tibi haec fuisse et esse cognitissima
Ait phaselus: ultima ex origine
Tuo stetisse dicit in cacumine,
Tuo imbuisse palmulas in aequore,
Et inde tot per inpotentia freta
Erum tulisse, laeva sive dextera
Vocaret aura, sive utrumque Iuppiter
Simul secundus incidisset in pedem;
Neque ulla vota litoralibus deis
Sibi esse facta, cum veniret a mari
Novissimo hunc ad usque limpidum lacum.
Sed haec prius fuere; nunc recondita
Senet quiete seque dedicat tibi,
Gemelle Castor et gemelle Castoris.

Пародия Вергилия,[4] в которой вместо изящной яхты Катулла, несущейся домой из Азии, изображена упряжка мулов, бредущая по галльской трясине, с забавной точностью повторяющая оригинальную фразеологию:

Sabinus ille, quem videtis, hospites
Ait fuisse mulio celerrimus,
Neque ullius volantis impetum cisi
Nequisse praeterire, sive Mantuam
Opus foret volare sive Brixiam.
Et hoc negat Tryphonis aemuli domum
Negare nobilem insulamve Caeruli,
Ubi iste post Sabinus, ante Quinctio
Bidente dicit attodisse forcipe
Comata colla, ne Cytorio iugo
Premente dura volnus ederet iuba.
Cremona frigida et lutosa Gallia,
Tibi haec fuisse et esse cognitissima
Ait Sabinus: ultima ex origine
Tua stetisse (dicit) in voragine,
Tua in palude deposisse sarcinas
Et inde tot per orbitosa milia
Iugum tulisse, laeva sive dextera
Strigare mula sive utrumque coeperat

* * * * *

Neque ulla vota semitalibus deis
Sibi esse facta praeter hoc novissimum,
Paterna lora proximumque pectinem.
Sed haec prius fuere: mine eburnea
Sedetque sede seque dedicat tibi,
Gemelle Castor et gemelle Castoris.

[Сноска 4: см. "Классическая филология", 1920, стр. 114.]

Другая упомянутая эпиграмма (Каталектон II) также нападает на соратника Антония, Анния Кимбера, презираемого ритором, которому Антоний помог занять высокий политический пост. И снова филиппики Цицерона (XI. 14) служат нам лучшим справочным пособием.

Corinthiorum amator iste verborum,

Iste iste rhetor, namque quatenus totus

Thucydides, Britannus, Attice febris!

Tau Gallicum min et sphin ut male illisit,

Ita omnia ista verba miscuit fratri.

Это можно было бы перефразировать так: "помешанный на архаичных словах, настоящий ритор, он такой же Фукидид, как и британский принц, проклятие аттического стиля! Я полагаю, это была доза архаичных слов с кельтским акцентом, которую он сочинил для своего брата.

Кажется, есть три точки атаки. Кимбера, судя по выпаде Цицерона, подозревали в том, что он происходил из рабского рода и пытался, как это часто делали вольноотпущенники того времени, сойти за потомка какого-нибудь несчастного варварского принца. Поскольку его акцент был кельтским (tau Gallicum), он мог легко придумать правдоподобную историю о том, что он британец. Вергилий, по-видимому, подразумевает, что акцент, а также имя Кимбер были приняты для того, чтобы скрыть его азиатское происхождение. Второй момент, по-видимому, заключается в том, что Кимбер, хотя и был преподавателем риторики, был настолько невежествен в греческом, что, провозглашая себя аттиком, использовал неаттические формы и превозносил Фукидида вместо Лисия как образец простого стиля. Наконец, ходили слухи, и Цицерон притворно верил в эту историю, что Кимбер был не без вины виноват в смерти своего брата. Вергилий, конечно, не слишком озабочен высмеиванием самого аттицизма: к этой школе Вергилий, должно быть, испытывал меньшее отвращение, чем к цветистому стилю Антония; поэта забавляет извращение доктрины.

Взятые в сочетании с другими намеками, эти два стихотворения показывают нам, к кому принадлежали симпатии поэта в те годы террора. Вполне возможно, что существовало несколько подобных эпigramм, направленных против самого Антония, но если это так, то они, конечно, были бы уничтожены во время правления триумvirата. Мстительность Антония не знала границ, о чем Рим узнал, когда был убит Цицерон.

VIII

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В САДУ

Посвящение Вергилием "Цирис" Валерию Мессалле было, как явствует из самого стихотворения, написано через несколько лет после основной части поэмы. Наиболее вероятная дата - 43 год до н.э., когда молодой аристократ, которому тогда было всего около двадцати одного года, отправился с благословения Цицерона [1] присоединиться к Бруту и Кассию в их борьбе за Республику. Мессала тогда, помимо того, что стал адептом философии -

возможно, в Неаполе, поскольку Вергилий знал его, - и урывал студенческие часы в Афинах для написания греческих стихов, приобрел немалую известность, подав в суд на самого образованного юриста того времени Сервия Сульпиция. Благодарственное письмо Цицерона, которое у нас сохранилось, необычайно хвалебно.

[Сноска 1: Цицерон, *Ad Brutum*, I, 15.]

Посвящение Кириса показывает, что Вергилий все еще стремится занять свое место в качестве соперника Лукреция. Мы можем перефразировать это так:

"Тщетно пытаюсь снискать расположение населения, я сейчас нахожусь в "Саду" в поисках темы, достойной философии, хотя много лет потратил на другие цели. Теперь я осмелился взойти на гору мудрости, на которую отваживались немногие. И все же я должен закончить эти стихи, которые начал, чтобы Музы перестали прельщать меня дальше. О, если бы только мудрость, владычица четырех мудрецов древности, привела меня в свою башню, откуда я мог бы издали наблюдать за ошибками людей; тогда я не почтил бы столь великого человека столь незначительной темой, но соткал бы чудесную ткань, подобную изображенному одеянию Афины ... великая поэма о Природе, и в ее текстуру я должен вплести твое имя. Но для этого мои силы все еще слишком слабы. Я могу предложить только эти стихи, на которые я потратил много часов в свои ранние школьные годы, давно обещанную и теперь выполненную клятву".

Очевидно, что ученик все еще горит желанием стать поэтом-философом и что он готов убажить муз легкой песней только потому, что они настаивают на возвращении. Но есть и другое стихотворение, адресованное Мессалле, которое в равной степени полно личного интереса.

Мессалла, как мы знаем из "Брута" Плутарха, частично почерпнутого из дневника молодого человека, присоединился к Кассию в Азии и оказал достойную внимания услугу, помогая своему полководцу завоевывать восточные провинции от Эвксинских островов до Сирии для республиканского дела. Позже при Филиппах он возглавил кавалерийскую атаку, которая прорвала линию триумvirата и захватила лагерь Октавия. Это была знаменитая первая битва при Филиппах, о которой в Италии преждевременно сообщили как о решающей победе республиканцев. Три недели спустя силы снова столкнулись, и триумвиры одержали полную победу. Мессалла, которого остатки побежденных выбрали командиром, осознал безнадежность своего положения и сдался победителям.

Девятый Каталептон Вергилия, по-видимому, был написан как гимн в честь Мессаллы после получения первого неполного отчета. Стихотворение ни в коем случае не подразумевает, что Вергилий благоволил Бруту и Кассию или испытывал какую-либо неприязнь к Октавиану. Отношение Вергилия к Мессалле было явно личным делом, причем такого характера, что политические разногласия не играли в нем никакой роли. Полное молчание поэта в стихотворении о Бруте и Кассии указывает на то, что это ни в коей мере не то дело, которое его интересует. Также нельзя рассматривать панегирик молодому республиканцу в то время как намек на какую-либо недоброжелательность по отношению к Октавиану, которому Вергилий всегда был предан. В то раннее время на Антония все еще смотрели как на доминирующую личность в триумvirате, и Вергилий не испытывал к нему никакой любви. Поэтому он может, хотя и сторонник Цезаря и дружит с Октавианом, петь дифирамбы личному другу, который борется с триумvirатом Антония.

В девятом Каталептоне, как и в большинстве хвалебных стихов, написанных на высокой скорости, мало хороших строк (вероятно, он так и не был закончен), но он чрезвычайно интересен как документ из жизни Вергилия.

Поскольку оно, как правило, публикуется с опозданием примерно на пятнадцать лет и поэтому неправильно понимается, мы должны подробно остановиться на некоторых его существенных деталях. Стихотворение можно кратко резюмировать:

"Ты пришел завоевателем, прославленным великим триумфом, победителем на суше и на море над варварскими племенами; и все же ты еще и поэт. Некоторые из ваших стихов нашли место на моих страницах, пасторальные песни, в которых два пастуха, лежащие под раскидистым дубом, поют в честь вашей героини, которой божества приносят дары. Героиня твоей песни станет более знаменитой, чем темы греческих песен, да даже чем римлянка Лукреция, в честь которой твои предки изгнали тиранов из Рима".

"Велики почести, которыми Рим наградил свободолюбивых (Publicolas) Мессаллов за это и другие деяния. Так что мне нет нужды воспевать твои недавние подвиги: как ты покинул свой дом, своего сына и форум, чтобы переносить зимний холод и летнюю жару в войне на суше и на море. А теперь ты отправляешься в Африку, Испанию и за моря".

"Такие деяния слишком велики для моей песни. Я буду удовлетворен, если смогу только похвалить твои стихи".

Наиболее важным отрывком является подразумеваемое сравнение Валерия Мессаллы с основателем семьи Валерианов, который помог первому Бруту в установлении республики, как теперь помогал последнему Бруту в ее восстановлении. Сравнение тем более поразительно, что наш Мессала позже явно отверг всякую связь с первым Валерием и, похоже, никогда не использовал псевдоним Publicola. Объяснение отрывка из Вергилия очевидно.[2] Поэт, услышавший о замечательном подвиге Мессаллы при Филиппах, сразу понял, что его связь с Брутом напечалит каждому римлянину о событиях 509 года до нашей эры, и что население, как само собой разумеющееся, назовет молодого героя древним прозвищем "Публикола". Позже, после своего поражения и подчинения, Мессалле, конечно, пришлось подавить все признаки, которые могли бы связать его с партией или фракцией "тираноубийц". Следовательно, поэма, должно быть, была написана до капитуляции Мессаллы в 42 году до н.э.

[Сноска 2: Аргумент полностью приведен в "Классической филологии", 1920, стр. 36.]

Молчание и нерешительность поэта в обращении к теме гражданской войны характерны для его настроения. Участники триумфа не получают ни слова: его друг - "слава" триумфа, возглавляемого людьми, имена которых, по-видимому, вызывают неприятные воспоминания. Нет также никакого ликования по поводу предполагаемого поражения "тиранов" и восстановления "республики". Подвиг Мессаллы, который Вергилий особенно подчеркивает, - это поражение "варваров", естественно, подчинение фракийских и понтийских племен и восточных провинций в начале года. И делается предположение (1. 51 и далее), что Мессалла, в знак признания его полководческого мастерства, был выбран для завершения войны в Африке, Испании и Британии. Наиболее значительным из всего этого является прямое признание Вергилия в том, что его разум не совсем спокоен относительно этой темы (II. 9-12): "Я действительно странно не нахожу слов, ибо, признаюсь, то, что побудило меня написать, скорее должно было бы отпугнуть меня". Мог ли он более определенно объяснить, что подвиги

Мессаллы, за которые он дружески хвалит, были совершены во имя дела, которое его сердце не одобряло? И разве это не объясняет, почему он уделяет так много места стихам Мессаллы и почему он так быстро умалчивает о победе при Филиппах, утверждая о своей неспособности воздать ей должное?

Однако для биографа наиболее интересным является отрывок, восхваляющий греческие пасторали Мессаллы, поскольку он ясно показывает, как Вергилий пришел к важному решению написать пасторали. Поскольку стихи Мессаллы были на греческом, они, конечно, были написаны за два года до этого, когда он был студентом в Афинах. Если бы мы знали эту героиню, которой он представляет божества как дарующие дары! Проперций, признавший Мессаллу своим покровителем, позже использовал тот же мотив небесного поклонения в честь Синтии (II. 3, 25), но, несомненно, герой Мессаллы был, судя по сравнению Вергилия, человеком гораздо более высокого положения, чем Синтия. Могла ли она быть той дамой, на которой он женился по возвращении из Афин? Такое обращение с женщиной высокого социального положения соответствовало бы обычаям "новых поэтов" Катуллы, Кальвы и Тицида, а не августов, Галлы, Проперция и Тибулла. Сам Вергилий использовал этот мотив во второй Эклоге (стр. 46), воспоминание, которое, несомненно, наряду со многими другими, которые мы не можем проследить, Мессалла, должно быть, признал своим собственным.

Пастораль, которую Вергилий перевел с Мессаллы, описана довольно полно:

Molliter hic viridi patulae sub tegmine quercus

Moeris pastores et Meliboeus erant,

Dulcia jactantes alterno carmina versu

Qualia Trinacriae doctus amat iuvenis.

Это, конечно, самое начало его собственных Эклог. Когда он опубликовал их, то поместил в самом начале хорошо известную строчку, напоминающую собственную фразу Мессаллы:

Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi.

Что это может означать, как не изящное напоминание Мессалле о том, что именно он вдохновил его на новые усилия?[3]

[Примечание 3: Римские писатели часто соблюдали изящный обычай признавать источник своего вдохновения, вплетая узнаваемую фразу или строку мастера в самое первое предложение нового произведения: ср. *Arma virumque capo* - [греческое: *Андра моя эннепе*] (Лундстрем, Эранос, 1915, стр. 4). Шелли, повинаясь тому же импульсу, перефразировала вступительные строки Биона в "Я оплакиваю Адонаиса - он мертв".]

Таким образом, мы можем заключить, что использование Вергилием этой строки в качестве названия своих Эклог является признанием влияния Мессаллы. И наоборот, это доказательство, если бы требовалось доказательство, что девятый Каталептон принадлежит Вергилию. Тогда мы можем интерпретировать тринадцатую строку девятого Каталептона:

pauca tua in nostras venerunt carmina chartas,

как утверждение, что осенью 42 года Вергилий уже написал некоторые из своих эклог и что эти ранние - предположительно, по крайней мере, номера II, III и VII - содержат предложения Мессаллы.

Триумфа, конечно, не было, и панегирик Вергилию так и не был отправлен, более того, он, вероятно, так и не был полностью завершен.[4] Мессала быстро заключил мир с триумвирами и, предпочитая не возвращаться в Рим с позором, связал свою судьбу с Антонием, который остался на Востоке. Вергилий, которому совершенно не нравился Антоний, должно быть, почувствовал, что, по крайней мере на данный момент, между ним и Мессаллой возник барьер. Соответственно, Чирис также был заброшен и в настоящее время разграблен для других целей.

[Сноска 4: Следовательно, его не следует всерьез использовать при обсуждении техники Вергилия.]

За новостями о Филиппах вскоре последовал приказ Октавиана - чтобы быть до конца точным, мы, конечно, должны называть его цезарем, - что теперь, согласно прошлым обещаниям, в Италии должны быть предоставлены земли почти для двухсот тысяч ветеранов. Все знали, что города, которые благоволили освободителям, и даже те, которые пытались сохранить свой нейтралитет, пострадают. Вергилий, конечно, мог предположить, что земли в долине По будут пользоваться особым спросом из-за их плодородия. Первая нотка страха обнаруживается в его восьмом Каталептоне:

Villula, quae Sironis eras, et pauper agelle,

Verum illi domino tu quoque divitiae,

Me tibi et hos una mecum, quos semper amavi,

Si quid de patria tristius audiero,

Commendo imprimisque patrem: tu nunc eris illi

Mantua quod fuerat quodque Cremona prius.

На основании этого отрывка обычно предполагается, что Сиро недавно умер, вероятно, где-то в 42 году до н.э., и что в соответствии с обычаем, которому часто следовали греческие философы в Риме, он оставил свое имущество своему любимому ученику. Таким образом, садовая школа, по-видимому, подошла к концу, хотя, возможно, Филодемус продолжал заниматься ею в течение нескольких оставшихся лет своей жизни. Вилла Сиро, очевидно, оказалась привлекательной для Вергилия, поскольку он сделал Неаполь своим постоянным домом, несмотря на подаренный Меценатом дом на Эсквилине.

Это, однако, не последнее упоминание Вергилия о Сиро, если мы можем верить Сервию, который считает, что "Силенум" в шестой эклоге означает "Сиронем", его метрический эквивалент. Если, что кажется вполне вероятным, Сервий прав, шестая эклога - это искренняя дань уважения учителю, который заслуживает того, чтобы его не забыли в истории образования Вергилия. В последние годы это стихотворение было так странно неверно истолковано, что пришло время последовать предложению Сервия и посмотреть, не ведет ли оно к каким-то выводам.[5]

[Сноска 5: Скутш вызвал бурю дискуссий по этому поводу, настаивая на том, что это был каталог стихотворений, написанных Галлом (Aus Vergils Frühzeit.). Карто, "Этюд о буколиках Вергилия" (стр. 285), почти принимает предложение Сервия: "резюме лекций и этюдов".]

После вступления к Вару в стихотворении рассказывается, как два пастуха застали Силена врасплох, связали его и потребовали песен, которые он давно обещал. Читатель, конечно, помнит, как Платон также сравнивал своего учителя Сократа с Силеном. Силен действительно пел до тех пор, пока холмы и долины не затрепетали от музыки: о сотворении солнца и луны, мира живых существ, золотого века и мифов о Прометее, Фаэтоне, Пасифае и многих других; он даже пел о том, как Галл был пленен Музами и стал служителем Аполлона.

Многим это казалось странной пасторалью! И все же не так уж странно, если мы примем во внимание, что книги Филодема раскрывают Вергилия и Квинтилия Вара как сокурсников в Неаполе. Несомненно, Сервий предоставил ключ. Вся поэма с ее отсылками к старым мифам - всего лишь репетиция школьных воспоминаний, как можно было догадаться по прекрасным лукрецианским ритмам, которыми она начинается:

Namque canebat, uti magnum per inane coacta
Semina terrarumque animaeque marisque fuissent
Et liquidi simul ignis; ut his exordia primis
Omnia et ipse tener mundi concreverit orbis;
Tum durare solum et discludere Nerea ponto
Coeperit, et rerum paulatim sumere formas;
Iamque novum terrae stupeant lucescere solem.
Altius atque cadant summotis nubibus imbres;
Incipiant silvae cum primum surgere, cumque
Rara per ignaros errent animalia montis.

Нижеприведенные мифы призваны продолжить этот список тем, только с несколько меньшей очевидностью. Они предложили Вару обычные эпикурейские теории восприятия, воображения, страсти и психических отклонений - темы, которые Сиро, должно быть, обсуждал примерно так, как Лукреций трактовал их в своих третьей и четвертой книгах "О природе".

Конечно, не следует предполагать, что Сиро читал лекции о мифологии как таковой. Но эпикурейские учителя, несмотря на свое презрение к легендам, использовали их в педагогических целях несколькими способами. Лукреций, например, иногда использует их из-за их живописности, как в "проемии" и снова в "аллегории времен года" (Ст. 732). Он также использует их в эвгемеристской манере, объясняя их как популярные аллегории реального человеческого опыта, цитируя мифы о Тантале и Сизифе, например, как выражения вездесущего страха наказания за преступления. Действительно, сам Вергилий в "Этне" - если это его книга - несколько наивно представил битву гигантов из-за ее живописного интереса.

Только после того, как ему понравилось рассказывать историю полностью, он остановил себя резким замечанием:

(1. 74) *Haec est mendosae vulgata licentia famaе.*

Лукреций не менее забавен в своем неприятии мифа о Кибеле после посвященного ему прекрасного отрывка из сорока строк (II, 600).

Таким образом, Вергилий был на знакомой почве, когда пытался напомнить своему школьному товарищу о философских темах Сиро, обозначив каждую из них с помощью соответствующего мифа. Возможно, мы, которые, в отличие от Вара, не слышали оригинальных лекций, не в каждом случае сможем раскрыть тему мифа, но поэт, по крайней мере, навел нас на верный след, очень легко разгадав первые загадки. "Лapidес Пирра" (I. 41), конечно, относится к сотворению человека; "Сатурния царственная" в эпикурейских преданиях - это примитивная жизнь ранних дикарей; "фуртум Прометей" (I. 42), должно быть, относится к объяснению Эпикура о том, как возник огонь от сталкивающихся деревьев и от молнии. История Гиласа (I. 43), вероятно, напомнила Вару лекцию Сиро об образах и рефлексии, Пасифаи (I. 46) - о необузданных страстях, объясненных, возможно, как в четвертой книге Лукреция, Аталанте (I. 61) - о жадности, а Фаэтону - о честолюбии. Что касается Сциллы, то Вергилий упомянул себя в "Кирисе" (I. 69) только для того, чтобы отвергнуть представленную здесь аллегорическую интерпретацию, согласно которой она изображает:

"грех похоти и неводержанности любви".

Тогда Верджилий еще не встречался с Сиро, но, возможно, читал некоторые из его лекций.

Наконец, странные строки о Корнелии Галле могли бы найти готовое объяснение, если бы мы знали, был ли Галл также членом неаполитанского кружка. Проб, если мы можем ему верить, предполагает такую возможность, называя его школьным товарищем Вергилия, и правдоподобная интерпретация этой эклоги превращает эту возможность в вероятность. Этот отрывок (II. 64-73) вполне может быть способом Вергилия напомнить Вару о любимом сокурснике, который покинул круг, чтобы стать поэтом.

Таким образом, вся поэма представляет собой восхитительный комментарий к "Жизни в саду Сиро" Вергилия, написанный, вероятно, после смерти Сиро, закрытия школы и ухода Вара на войну. Школьные годы молодого человека уже закончились; он нашел свою идиому в поэтической форме, к которой его привлекли эксперименты Мессаллы. Эклоги уже появляются в быстрой последовательности.

IX

МАТЕРИАЛИЗМ НА СЛУЖБЕ ПОЭЗИИ

Было замечено, что гений Вергилия развивался медленно; ему было двадцать восемь лет, прежде чем он написал какие-либо стихи, которые его зрелый взгляд признал достойными публикации. Обзор его ранней жизни раскрывает некоторые причины такого запоздалого развития. Родившийся и получивший образование в провинции, он, естественно, был сдержан отсутствием тех контактов, которые стимулируют городских мальчиков к быстрому умственному

росту. Первые несколько лет в Риме были в какой-то мере потрачены впустую на предмет, к которому у него не было ни вкуса, ни дарований. Банальная риторическая подготовка действительно могла бы сделать из него Лукана или Ювенала, если бы он в конце концов не восстал так решительно. Однако эта работа в Риме не оказалась полной потерей. Его выбор национальной темы для эпоса и его понимание истинных качеств императорского Рима в чем-то обязаны изучению политических вопросов, которые были необходимы при подготовке к государственной карьере. В бытность свою римлянином он научился кое-чему, чего не смогло искоренить даже эпикурейское презрение к политике.

Однако его следующее решение посвятить свою жизнь философии снова затормозило его поэтическое развитие. Несомненно, это держало его на привязи в годы юношеского энтузиазма, когда он мог бы стать лириком неотерической школы. Катулла или Китса нужно ловить рано. Действительно, сами догмы эпикурейской школы, если воспринимать их со всей серьезностью, подавляли лирический энтузиазм. Этна демонстрирует, возможно, худшие последствия эпикурейской доктрины в ее схоластическом настаивании на том, что мифы теперь должны уступить место фактам. Его автор был все еще слишком поглощен микроскопическим анализом незначительного фрагмента исследования, чтобы уловить дух Лукреция, который нашел в видениях научной мастерской величие и красоту, составляющие сущность поэзии.

В конце концов, поэзия Вергилия, как и поэзия Лукреция, в большей степени обязана эпикурейству, чем склонны признать современные критики, слишком часто одержимые неправильно применяемым *odium philosophicum*. Слишком легко сравнить эту философию с другими системами, прошлыми и настоящими, и доказать, что ее научная неадекватность, ее выводы неэтичны, а ее отношение к искусству банально. Но это не является разумным историческим методом подхода. Изучающий Вергилия должен скорее помнить, насколько велика была потребность того века в какой-либо практической философии, способной вывести разум из оцепенения, в которое его повергла гибридная мифология, и как, когда платонический идеализм был разрушен скептиками, а стоицизм с его гипотетическими посылами оттолкнул многих студентов, эпикурейский позитивизм стал спасительным евангелием просвещения.

Система, несмотря на ее неадекватные первые ответы, использовала научный метод, который вселил в римлян веру во многие из ее результатов, как раз в то время, когда ортодоксальная мифология уступила перед первым критическим исследованием. В качестве предварительной системы освещения она оказалась бесценной. неискушенные в метафизических процессах мышления, несведущие в инструментах точной науки, римляне до сих пор не получили никаких ответов на свое растущее любопытство к природе, кроме тех, которые предлагала безнадежно наивная вера. Стоицизм впервые был предложен греческими учителями в качестве возможного руководства, но римлянин, теперь приученный своей экстраординарной карьерой в мировой политике мыслить в терминах опыта, мог иметь мало терпения к метафизической системе, которая постоянно находила убежище в вере в априорную логику, которой уже два столетия успешно противостояли скептики. Эпикуреец, по крайней мере, твердо стоял на ногах, взывал к вере практического человека в свои собственные чувства и правдоподобно подкреплял свои гипотезы аналогичными иллюстрациями, часто очень близко подходя к убедительным методам новой индуктивной логики. Он основывал свою аргументацию, по крайней мере, на процессах аргументации, которые римляне ежедневно применяли в судах и сенате, а не на полетах метафизических рассуждений. Он пришел с евангелием просвещения к расе, жаждущей света,

открыв перспективы в бесконечность миров, чудесным образом созданных процессами, которые обычный человек наблюдал во время своих ежедневных прогулок.

Именно эта способность эпикурейской философии освобождать воображение, поднимать человека из тривиальной мифологии в мир бесконечных видений и удовлетворять человеческое любопытство относительно вселенной осязаемыми ответами [1] особенно привлекала римлян времен Вергилия к новой философии. Их опыт мало чем отличался от опыта бесчисленных людей последнего поколения, которые впервые избавились от ребяческой космологии с помощью популярных версий дарвинизма, которые эксперты осудили как ненаучные.

[Сноска 1: Не совсем точно говорить, что римляне создали догму

ob ipse dixit Эпикура, разрушившем научную непредубежденность.

Вергилий использует Посидония и Зенона так же свободно, как это делает стоик Сенека Эпикур.]

Более того, эпикурейство давало такой взгляд на природу, который в сознании поэта с богатым воображением мог привести к романтизму. Стоицизм действительно претендовал на пантеизм, и Вордсворт продемонстрировал ценность такого отношения для романтизма. Но для ясновидящих стоицизм немедленно взял у природы одной рукой то, что она дала другой. Неизменно его правило "следовать природе" должно было определяться в терминах, доказывающих его недоверие к тому, что мир называет природой. На самом деле стоики испытывали только презрение к натурализму. Физический человек был для него существом, которое нужно заковать в цепи. Не верь "шелушащейся плоти; грехи и грехи, грехи!" - в ужасе кричит Персий.

Более ранний наивный анимизм Греции и Рима имел больше эстетической ценности, поскольку это был тот самый источник, из которого вытекло все богатство древних мифов. Но нимфы этого ручья были мертвы, сраженные философскими расспросами. Новое поэтическое мифотворчество, в котором все еще ощущалось влияние старой привычки мышления, было склонно к некоторой застенчивости и неуверенности в себе, заканчиваясь чем-то похожим на патетическую ошибку.

С другой стороны, эпикурейство, используя теорию эволюции, смогло еще раз объединить человека и природу. И поскольку человек настолько эгоцентричен, что его воображение отказывается проявлять сочувствие к природе, пока он не почувствует жизненно важную связь с ней, романтическая поэзия стала возможной только после открытия этого единства. Несомненно, именно поэтому Лукреций, в первую очередь римлянин, смог в своем произведении вернуть природе ту чувственность, которая в песнях трубадуров стала центральной темой романтической поэзии даже в наши дни.

Nam simulac species patefactast verna diei ...

Aëriae primum volucres te diva tuumque

Significant initum percussae corda tua vi,

Inde ferae pecudes persultant pabula laeta.

Вергилий, убежденный в той же философии, выражает себя сходным образом:

Et genus aequoreum, pecudes, pictaeque volucres amor omnibus idem.

И еще:

Avia tum resonant avibus virgulta canoris

Et Venerem certis repetunt armenta diebus

Parturit almus ager Zepherique trementibus auris

Laxant arva sinus.

Это, конечно, тема книги "Шумер - это вселенная". Лукреций так сильно ощущает единство естественно развитого творения, что без колебаний сравнивает людей разного темперамента с животными разной природы - огненным львом, хладнокровным быком - и объясняет различия в обоих одинаковым преобладанием некоего особого вида "атомов души".

Очевидно, что это была система, которая, расширяя ментальный горизонт и симпатии человека, могла создавать новые ценности для эстетического использования. Подобно грубым эволюционистским гипотезам времен Руссо, это давало человеку более обоснованную симпатию к своим братьям - поскольку эволюция еще не была "красной в зубах и когтях". Если природе можно доверять, то почему не природе человека? Зачем проклинать тело, тело любого человека, как первопричину греха? Разве инстинкты не были частью человека? Разве научный взгляд не может доказать, что страсти, отнюдь не являющиеся болезнями, обуславливают саму жизнь и выживание расы? Возможно, зло чрезмерности, называемое грехом, в конце концов, было вызвано дефектами социальных и политических институтов, которые применяли неправильные регулирующие принципы, или эгоистично навязанными религиозными страхами, которые доводили здоровые инстинкты до истерики. Избавьте человека от этих ошибочных страхов и от политической системы, созданной в целях эксплуатации, и посмотрите, сможет ли он, вернувшись в эпоху первобытной невинности, доказать, что природе можно доверять.[2]

[Сноска 2: Лукреций, III, 37-93; II, 23-39; V, 1105-1135.]

Таким образом, в этой философии заложена основа для широкого гуманизма, возможно, опасного по своим последствиям. И все же вряд ли это могло быть более опасным, чем римская ортодоксальная религия, настаивающая только на формальной корректности, редко на этических приличиях, или чем стоицизм с его категорическим императивом, который мог сдерживать только тех, кто уже был убежден. Стоическая претензия апеллировать к естественному закону может быть доказана нелогичной при первом рассмотрении, когда приходится признать, что "природа" должна быть объяснена с помощью вызывающего вопросы определения, прежде чем ее правило может быть применено.

Действительно, римляне времен Вергилия не привыкли искать этические санкции в религии или вероучении. Мораль всегда была для них вопросом семейных обычаев, родительского обучения правилам приличия, юридической доктрины, касающейся универсальности *aequitas*, и, в большей степени, чем они думали, пуританских инстинктов, унаследованных от хорошо отборных родителей. Вероятно, Лукрецию и Вергилию не приходило в голову спросить, поощряет ли эта новая философия более высокие или более низкие этические стандарты.

Цицерон, как государственный деятель, так и делает; но этот вопрос, несомненно, возник у него в первую очередь из академической литературы, которую он имел обыкновение читать. Несмотря на их вероучение, Лукреций и Вергилий действительно являются главными апостолами праведности в Риме; и если бы кто-нибудь выдвинул обвинение в возможной моральной слабости их системы, он вполне мог бы указать на образцовую жизнь Эпикура и многих его последователей. Римлянам эта философия принесла кредо, вызывавшее широкую симпатию, и не было никакой "жажды сенсаций", которая сопровождала ее возвращение во времена Руссо и "Вертера". Если бы древний римский род, здоровый душой и ясными глазами, не был подорван войнами и не поредел в результате эмиграции, только для того, чтобы быть вытесненным более нервным и импульсивным народом, пришедшим сюда в результате работорговли, римская цивилизация вряд ли пострадала бы от применения доктрин Эпикура.

Независимо от того, оставался ли Вергилий эпикурейцем до конца или нет, мы должны, справедливости ради, отдать должное этой философии за многое, что наиболее поэтично в его более поздних работах, - романтическое очарование в обращении с природой, глубокое понимание характера человека, более широкое сочувствие человечеству и более четкое понимание разницы между социальной добродетелью и простой ритуальной корректностью, чем можно было ожидать от римлянина в то время.

Однако весьма вероятно, что Вергилий в целом оставался верен этому символу веры[3] до самого конца. Ему было сорок лет, и до его смерти оставалось всего одиннадцать лет, когда он опубликовал "Георгику", которая пронизана эпикурейским взглядом на природу; и повторное изложение этого символа веры в первой книге "Энеиды" должно предупредить нас, что его вера в это не умерла.

[Примечание 3: Это, конечно, не точка зрения Селлара, Кониingtonа, Гловера и Нордена, не говоря уже о нескольких из тех, кто считает, что Вергилий стал стоиком. Подробнее об этой точке зрения читайте в главе XV.]

Х

RECUBANS SUB TEGMINE FAGI

Посетителя Аркадии, возможно, следует убедить оставить свой микроскоп дома. Во всяком случае, счастливее всего читатель "пасторалей" Вергилия, который может взять карманное издание без аннотаций в свое убежище на каникулах, забыв о том, что каждый любознательный Донат предположил о возможном скрытом значении, заключенном в них. Но биограф может и не разделить этого удовольствия. Вскоре Эклоги были обременены комментариями критиков, которые искали в них секреты ранней карьеры, скрытые в неизвестности необъявленной провинциальной жизни. В своем нетерпеливом поиске данных они заставляли каждый возможный отрывок содержать какой-нибудь личный намек, пока стихи не стали ничем иным, как символической биографией автора. Современный студент должен углубиться в этот материал хотя бы для того, чтобы немного прояснить аллегория, которая затемняет текст.

Следует сразу честно признать, что современная критика не располагает научным методом, который мог бы с абсолютной точностью отсеять всю ложь, затемняющую истину в этом вопросе, но, по крайней мере, было положено начало демонстрации того, что приукрашивания

сами по себе непротиворечивы. Те ранние комментаторы, которые по-разному относят конфискацию фермы Вергилия к битве при Мутине (43 г. до н.э.), после Филиппов (42 г.) и после Акциума (31 г.), которые считают Марка Антония партизаном Брута, а Алфена Вара губернатором несуществующей провинции, могут привести некоторые реальные факты: они, конечно, рискуют строить множество тщетных догадок. Самый безопасный способ - доверять этим записям только тогда, когда они согласуются с данными, предоставленными надежными историками, и интерпретировать Эклоги в первую очередь как образную пасторальную поэзию, а не, за исключением случаев, когда они этого требуют, как личное свидетельство. Здесь мы будем рассматривать буколики в том порядке, который, по-видимому, соответствует их композиции, а не порядку их расположения в коллекции.

Панегирик Мессалле, написанный в 42 году до н.э., показывает, что Вергилий уже работал над пасторальными темами, на которые, как он говорит нам, его внимание привлекли греческие эклоги Мессаллы. Тогда мы можем сразу же отвергнуть утверждение схолиастов о том, что Вергилий написал Эклоги с целью поблагодарить Поллиона, Алфена и Галла за спасение его поместий от конфискации. По меньшей мере добрая половина этих стихотворений была написана до того, как появился какой-либо материальный повод для благодарности, и, как мы сейчас увидим, эти трое мужчин в любом случае имели мало отношения к делу. Это послужит хорошим противоядием против домыслов школы аллегоризации, если мы вспомним, что эти комментаторы Империи были по большей части греческими вольноотпущенниками, которые сами были в основном заняты подлизыванием к своим покровителям. Они, очевидно, предполагали, что поэты как нечто само собой разумеющееся писали то, что они делали, чтобы угодить какому-то покровителю - достаточно сомнительное предположение относительно любой римской поэзии, написанной до Серебряного века.

Вторая эклога - это очень раннее исследование, которое по теме принесения даров, кажется, напоминает работу Мессаллы.[1] Третий и седьмой эпизоды также общепризнаны как ранние эксперименты в более реалистичных формах пасторали об амебах. Поскольку пятая, которую следует отнести к началу 41 года до н.э., на самом деле цитирует вторую и третью, у нас есть конечная точка для этих двух эклог. К раннему списку следует добавить десятое, если оно было адресовано Галлу, когда он все еще проходил военную службу в Греции, и вместе с ними мы можем поместить шестое, о котором говорилось выше.

[Сноска 1: см. Главу VIII.]

Отсутствие реалистичного местного колорита в этих пасторалях часто подвергалось критике на основании предположения, что Вергилий написал их, находясь дома в Мантуе, и, следовательно, должен был дать правдивые изображения мантуанских пейзажей и персонажей. Его родина была и остается однообразной равниной. Выступающие скалы с их атлетическими козами, гроты, приглашающие певучих пастухов пренебречь своими стадами, горные поляны и водопады Эклог, конечно, не могут быть мантуанскими. Долина По была густо заселена, а ее глубокие черные почвы интенсивно возделывались. Несколько овец, конечно, содержались для получения шерсти, но их пасли фермерские мальчики в садах. Одинокaя коза, незаменимая в каждом итальянском доме, несомненно, была привязана за ногу на обочине дороги. Там, где еще не были вырублены старые дубравы, паслись стада свиней, но это стадо свиней обычно не причисляют к певчим. Нельзя было ожидать никакой поэзии и от ковбоев, которые управляли скотоводческими ранчо у подножия Альп и стадами буйволов на безводных

низменностях. Является ли тогда пейзаж Вергилия не чем иным, как литературным воспоминанием?

На самом деле пасторальный пейзаж у Вергилия неаполитанский. Восьмой Каталептон является доказательством того, что Верджиллий был в Неаполе, когда услышал об опасности, угрожающей имуществу его отца на Севере. Сомнительно, видел ли Вергилий когда-нибудь снова Мантую после того, как в раннем детстве уехал из нее в Кремону. Собственность, конечно, принадлежала не ему, а его отцу, который, как следует из краткого стихотворения, остался там со своей семьей. Пасторальный пейзаж редко, за исключением девятой эклоги, претендует на мантуанский. Даже там, где, как в первом стихотворении, стихотворение призвано передать личное выражение благодарности за освобождение Вергилия от жестоких выселений, поэт очень осторожен, чтобы не навязывать картину самого себя или своих собственных обстоятельств. Титир - старик и раб в типичной пастушьей стране, какую каждый день можно увидеть в горах близ Неаполя. И выселений близ Неаполя было столько же, сколько и на Севере. Действительно, именно неаполитанская страна - такая же живописная, как и любая другая в Италии, - постоянно приходит на ум читателю. Сенека сообщает нам, что тысячи овец паслись в суровых горах за Стабиями, а суконный цех и многочисленные мануфактуры в Помпеях напоминают нам о том, что выращивание шерсти было важной отраслью промышленности этого региона. Экскурсия Верджиллия в Сорренто, несомненно, была не единственной поездкой через залив. За Неаполем, вдоль хребта Позилипо, [2] ниже которого позже был похоронен Вергилий, в горах около Камальдоли и за ПUTEОЛАМИ вплоть до Авернуса - страны, по которой поэт бродил с наблюдательными глазами, - не могло быть ничего, кроме пастушьей земли. Итак, вот скалы, водопады и гроты, которые Вергилий описывает в "Эклогах".

[Примечание 2: Живописная дорога из Неаполя в ПUTEОЛИ проходила по краю скалистого мыса Позилипо, в конце концов пробиваясь сквозь крайнюю скалу с помощью туннеля, который теперь ошибочно называют "грот ди Сехано". Большая часть дороги сейчас находится под двадцатифутовым слоем воды: см. Гюнтер, Паузилипон. Чтобы увидеть великолепный горный хребет таким, каким его видел Вергилий с дороги, теперь нужно проехать по нему от Неаполя до Несиды, рисуя изобилие илеков и коз на месте вилл, которые сейчас покрывают его.]

И здесь тоже, несомненно, было столько певучих пастухов, сколько Феокрит когда-либо находил на Сицилии, ибо они принадлежали к той же расе, что и сицилийцы. Почему склоны Лактариуса должны быть менее музыкальными, чем склоны Этны? Действительно, разумный читатель обнаружит, что, за исключением случайного переноса реальных людей в аркадскую обстановку - посредством аллегорического оборота, изобретенного еще до Вергилия, - нет серьезной путаницы в декорациях или непоследовательной трактовки сюжетов Эклог Вергилия. Но, не сумев сделать это простое предположение - естественное для любого поэта, - читатели Вергилия напрасно испортили впечатление от некоторых из его лучших отрывков.

Пятая эклога, написанная, вероятно, в 41 году до н.э., представляет собой очень мелодичную песню о Дафнисе, которая всегда была любимой у поэтов. Это было и может быть прочитано с большим удовольствием как элегия Дафнису, богу-покровителю поющих пастухов. Однако те, кто во времена римской империи знал любовь Вергилия к символизму, подозревали, что к написанию этой элегии его побудил более личный интерес. Смерть и апофеоз Юлия Цезаря до сих пор считается некоторыми реальной темой поэмы, в то время как некоторые приняли другую древнюю гипотезу, согласно которой Вергилий писал здесь о своем брате. Однако

оплакиваемый человек, должно быть, был более важным, чем брат Верджилия. С другой стороны, некоторые детали стихотворения - например, "Горе матери" - исключают предположение, что это был Цезарь, если только поэт здесь не путает детали больше, чем мы должны предполагать в любой другой эклоге.

Действительно, трудно отделаться от очень старого убеждения, что скорбь, выраженная с таким сочувствием, должна быть чем-то большим, чем просто теокритическим воспоминанием. Если бы мы могли найти какого-нибудь поэта - а это, должно быть, Дафнис - рядом с самим Вергилием, который встретил несчастливую смерть в те дни, тоже поэта, который умер при таких обстоятельствах во время гражданской смуты, что всеобщее выражение скорби пришлось скрывать за символической завесой, разве поэма не приобрела бы тем самым тему, достойную ее изящества? Я думаю, что у нас есть такой поэт в лице Корнифиция, близкого друга Катулла, которому на самом деле Катулл адресовал, по-видимому, свои последние стихи.[3] Как и многие новые поэты, Корнифиций поддерживал дело Цезаря, но в конце концов Цицерон убедил его поддержать Брута против триумвиров. После Филиппов Корнифиций несколько месяцев вел безнадежную борьбу в Африке, пока, наконец, не был побежден и предан смерти. Если это Дафнис Вергилия, у нас есть объяснение, почему его личность ускользнула от внимания любопытных ученых. Тактичное молчание стало совершенно необходимым в то время, когда почти каждый дом в Риме был раздираем разделившимися симпатиями, и все же братство в искусстве вряд ли можно было полностью подавить. С точки зрения хозяев Рима, Корнифиций встретил справедливую участь как мятежник. Если его друзья-поэты и оплакивали его, то, должно быть, в каком-то подобном обличье.

[Сноска 3: Катулл, 38.]

В данном случае косвенные доказательства довольно убедительны, поскольку комментатор сообщает нам, что Валгий, ранний друг Вергилия, написал элегии в память о "Кодре", которого некоторые называют Корнифицием:[4]

Codrusque ille canit quali tu voce canebas,

Atque solet numeros dicere Cinna tuos.

[Сноска 4: Веронская схолия, Экл. VII, 22. Доказательства представлены в "Классическом обзоре", 1920, стр. 49.]

Этот "пастух", по крайней мере, реальный человек, друг Цинны и член неотерической группы; то, что это действительно Корнифиций, чрезвычайно вероятно. Поэт-патриот, похоже, не был забыт своими друзьями.

Слишком мало известно об этом друге Катулла и Цинны, но то, что известно, вызывает живой интерес. Хотя он был моложе Цицерона почти на поколение, великий оратор [5] оказывал ему немалое уважение как представителю аттической группы. В написании стихов он принадлежал к школе Катулла, сочинив по крайней мере один эпиллион, помимо лирических стихов. Согласно Макробию, Вергилий сделал ему комплимент, подражая ему, а он, в свою очередь, цитируется схолиастами как авторитетный источник мнения Вергилия. Если "Песнь о Дафнисе" - элегия, написанная на его смерть, а более подходящую тему трудно найти, то поэма, несомненно, одна из самых очаровательных эклог Вергилия, была написана в 41 году до нашей эры. Было бы жаль, если бы молитва Вергилия о поэте все-таки не сбылась:

Semper honos, nomenque tuum laudesque manebunt.

[Сноска 5: См. Письмо Цицерона к нему: Ad Fam. XII, 17, 2.]

Десятая эклога "К Галлу", проникнутая всеми литературными ассоциациями пасторальных элегий, от "Дафниса" Феокрита до наших собственных "Ликиды" и "Адонаиса", возможно, окружила себя атмосферой, которую не следует нарушать биографическими подробностями. Однако мы вынуждены вмешаться. Ассоциации Вергилия с Галлом, как уже упоминалось, были связаны, по-видимому, с неаполитанскими школьными днями и поэзией. Шестая эклога деликатно подразумевает, что уход Галла из круга произвел очень глубокое впечатление на его учителя и сокурсников.

Чего бы мы только не обменяли из всех полусквипедальных эпосов Империи на несколько страниц, написанных Корнелием Галлом, по тысяче за каждую! Этот блестящий, вспыльчивый, повзрослевший мальчик, которого все любили, был почти ровесником Верджилия. Кельт, как можно было бы догадаться по его карьере, он познакомился с Октавиусом в классной комнате и завоевал непреходящее восхищение мальчика. Затем, подобно Вергилию, он, по-видимому, обратился от риторики к философии, от философии к поэзии и к поэзии катуллановых романов, как к чему-то само собой разумеющемуся. Именно Китериды, непостоянная актриса - если схолиасты правы, - открыла ему глаза на тот факт, что для страстной поэзии есть темы более близкие, чем легендарные любовные истории; и когда она забыла его, найдя волнение в другом месте во время его месяцев службы Октавиану, он лелеял свое болезненное горе в не римской жалости к себе, этот первый поэт школы пуатринье. Его последующая карьера была стремительной. Октавиан, очарованный блеском, который скрывал недостаток римской уравновешенности, поручил ему грандиозную задачу по организации Египта, работу, которая потребовала бы усилий цезаря. Поэт-романтик потерял голову. Вдохновленные вином речи, приводившие в восторг его гостей, его портретные бюсты в каждом городе, гротескные каталоги кампаний против неслыханных негритянских племен, начертанные даже на почтенных пирамидах, не соответствовали традициям Рима. Октавиан оборвал свою карьеру, и Галл, глубоко огорченный, покончил с собой.

Десятая эклога [6] передает впечатления Вергилия от прочтения одной из элегий Галла, которая, по-видимому, была написана на каком-то уединенном армейском посту в Греции после известия о дезертирстве Кифериды. В своей элегии поэт, по-видимому, оплакивал судьбу, которая привела его на Восток, вдали от любимой.

"Если бы он был простым пастухом, как греки, живущие в своем шатре, ибо их любовь оставалась верной!" И это, конечно, та самая тема, которую Вергилий драматизирует в пасторальной форме.

[Сноска 6: Это интерпретация Льва, Гермес, 1902, стр. 15.]

Мы, как и Вергилий, понимаем, что Галл изобрел новый жанр в литературе. Он смело перенес горе раненой любви из области вымысла, где классическая традиция настаивала на ее сохранении, в непосредственную и личную песню. Намек на эту процедуру, конечно, исходил от Катулла, но именно Галлу все последующие элегисты приписывали это открытие. Вергилий сразу почувствовал притягательную силу этого рискованного эксперимента. Он немедленно признал это в своих Эклогах, и Тибулл, Проперций и Овидий стали его последователями.

Стихи Галла, если аркадская обстановка реальна, вероятно, были написаны вскоре после Филиппов. Эклога признания Вергилия, возможно, была написана немногим позже, поскольку мы имеем право предположить, что у Вергилия был один из первых экземпляров стихотворений Галла. Если это правда, то первые и последние несколько строк были вставлены позже, когда вся книга была опубликована, чтобы приспособить стихотворение для его почетного места в конце тома.

XI

ВЫСЕЛЕНИЯ

Первая и девятая эклоги, и только они, касаются конфискации земель в Кремоне и Мантуе, которая угрожала лишить отца Вергилия его поместий и, следовательно, поэта его дохода. Кажется, нет никакого способа решить, какой из них более ранний. Древние комментаторы, следуя порядку старшинства, интерпретировали девятое число как указание на второе выселение, но, по-видимому, нет веских причин соглашаться с ними, поскольку они слишком буквальны в своих выводах. Конингтон здраво решает, что имело место только одно выселение, и он ставит девятое перед первым по порядку времени. Возможно, он прав. Во всяком случае, эти два стихотворения относятся к первым месяцам 41-го года.

Угодливые схолиасты Империи нигде так тщательно не разоблачали свой собственный образ мышления, как в своих интерпретациях этих двух Эклог. Мало зная фактический ход событий и не заботясь о нем, не имея представления об институтах прошлого, озабоченные только извлечением из Эклог того, что для них является драматической историей, они ставят всех исторических персонажей в невозможные ситуации. Единственное, в чем они уверены, так это в том, что каждая эклога, в которой упоминаются Поллион, Галл и Альфенус Вар, должна была быть стихотворением "хлеб с маслом", написанным в благодарность за полученную ценность. О тесных литературных связях того времени они, похоже, не подозревают. Для достижения таких целей Поллиона [1] иногда назначают губернатором Цизальпинской Галлии, а иногда назначают в комиссию по колонизации Кремоны, Альфена делают "преемником" Поллиона в несуществующей провинции, а Галла также назначают комиссаром по колониям. Однако, если мы рассмотрим эти утверждения в свете фактов, предоставленных независимыми источниками, мы обнаружим, что вся структура, основанная на субъективных выводах схолиастов, рушится.

[Сноска 1: см. Diehl, *Vitae Vergilianae*, стр. 51 и далее.]

Сначала мы должны проследить за карьерой Поллиона в этот период. Когда в 43 году был сформирован триумвират, Поллион был назначен легатом Антония в Цизальпинской Галлии и обещал консульство на 40 год.[2] Однако после Филиппов, осенью 42 года, Цизальпийская Галлия была объявлена частью Италии и, следовательно, вышла из-под контроля Поллиона.[3] Тем не менее, он не был лишен командования на год, оставшийся до его консульства (41 год до н.э.), но ему было разрешено отойти к верхней оконечности Адриатики со своей армией из семи легионов.[4] Его обязанностью, несомненно, было охранять низкое венецианское побережье от остатков республиканских сил, все еще находившихся в открытом море, и, если у него будет время, подчинить иллирийские племена, дружественные республиканскому делу.[5] В течение этого года, когда Октавиану пришлось осаждать Луция Антония в Перузии, Поллион, легат Марка Антония, естественно, был не в хороших отношениях с Октавианом и вряд ли мог

использовать какое-либо влияние в интересах Вергилия или кого-либо еще. После Перузинской войны он присоединился к Антонию в Брундизии весной 40 года и выступал в качестве его представителя на конференции, которая привела к заключению важного мирного договора. Таким образом, мы можем с уверенностью заключить, что Поллион не был ни губернатором, ни комиссаром по колониям в Цизальпинской Галлии, когда были волнения в Кремоне и Мантуе, и не мог быть в таких отношениях с Октавианом, чтобы использовать свое влияние в интересах Вергилия. Восьмая и четвертая Эклоги, воздающие ему честь, по-видимому, не имеют ничего общего с материальными благами. Своим происхождением они, несомненно, обязаны положению Поллиона как поэта и интересу Поллиона к молодым литераторам.

[Сноска 2: Аппиан, IV. 2 и V. 22.]

[Сноска 3: Аппиан, ст. 3 и ст. 22.]

[Сноска 4: Веллей Патеркул, II. 76.2; Макробий, Сб. I. XI. 22]

[Сноска 5: Задание, которое он выполнил в 39 году.]

Что касается Алфена и Галла, схолиасты были несколько ближе к истине, поскольку у них под рукой была речь Калла, критиковавшего первого за его поведение в Мантуе. Процитировав точные слова этой речи, Сервий [6] предоставил нам надежный критерий для того, чтобы принять то, что согласуется с утверждениями более ранних биографов Вергилия, и исключить некоторые домыслы. Отрывок гласит: "Когда вам приказали оставить незанятым район в трех милях от города, вы включили в этот район восемьсот шагов воды, которая находится у стен". Этот отрывок, конечно, показывает, что Альфенус был комиссаром в колониальном совете, как говорит Сервий. Это не оправдывает ошибку Сервия, сделавшего Альфена Поллиона преемником на посту губернатора провинции [7] после того, как Цизальпийская Галлия стала автономной, и не подразумевает, что Альфен каким-либо образом был щедр к Вергилию или к кому-либо еще. Фактически это разоблачает Альфенуса в акте захвата необоснованного количества земли. Вергилий, [8] конечно, признает позицию Альфена как комиссара в своей девятой эклоге, где он обещает ему великую славу, если он проявит милосердие к Мантуе:

Vare, tuum nomen, superet modo Mantua nobis ...

И обращение Вергилия к нему было разумным, поскольку он тоже был человеком с литературными амбициями.[9] Но нет никаких доказательств того, что Алфен прислушался к его мольбам; во всяком случае, поэт больше никогда о нем не упоминает. Предположение Сервия о том, что Алфен был полезен поэту [10], по-видимому, полностью основано на ошибочном представлении о том, что шестая эклога была подобострастно адресована ему. Однако, как мы видели, Квинтилий Вар имеет больше прав на это стихотворение.

[Сноска 6: Сервий Дан. на Екл. IX. 10; ex oratione Cornelii в

Alfenum. Ср. Кролл в Рейне. Музей, 1909, 52.]

[Сноска 7: Сервий Дан. к Екл. VI. 6.]

[Сноска 8: Вергилий, Эклога IX, 26-29.]

[Сноска 9: См. Suffenus and Alfenus, *Classical Quarterly*, 1920, стр. 160.]

[Сноска 10: К Эклоге. VI. 6.]

Цитата из речи Галла также подтверждает утверждение Сервия о том, что на Галла была возложена обязанность взыскивать деньги с городов, избежавших конфискации.[11] За это мы должным образом благодарны. Это указывает на то, как Альфенус и Галлус вступили в конфликт, поскольку финансовая сфера последнего, естественно, подверглась бы вторжению, если бы первый захватил освобожденную территорию для расширения своей новой колонии Кремона. В таких условиях мы можем понять, что Галл, как само собой разумеющееся, был заинтересован в спасении Мантуи от конфискации, и что в этой попытке он вполне мог обратиться к Октавиану от имени Вергилия. На самом деле его интерпретация трехмильного ограничения, возможно, действительно спасла владения Верджила, которые, похоже, находились примерно на таком расстоянии от города.[12]

[Сноска 11: Сервий Дан. к Екл. VI. 64.]

[Примечание 12: *Vita Probiana, milia passuum XXX* обычно заменяется на

III на основании Доната: *a Mantua non procul*.]

Опять же, однако, нет особых оснований предполагать, что Эклоги Вергилия в честь Галла имеют какое-либо отношение к этому делу. Шестой последовал за смертью Сиро, а десятый, по-видимому, предшествует дням колониальных беспорядков, если в нем упоминается Галлус как солдат в Греции. Если шестая эклога относится к Сиро, как утверждает Сервий, то Вергилий и Галл долгое время были литературными партнерами до того, как были написаны первая и девятая.

У изучающего Вергилия, который однажды сравнил утверждения схолиастов с историческими фактами в этих немногих местах, где они проходят параллельно, не хватит терпения выслушивать мелкие сплетни, почерпнутые из Эклог. Например, история размолвки Вергилия с солдатом, по-видимому, является выводом из опыта Меньяка в эклоге IX. 15; но "Меньяк" появляется в четырех других эклогах, где он не может быть Вергилием. Поэт действительно был в Неаполе, как доказывает восьмой Катаплектон. Имущество в опасности не его, а его отца, который, предположительно, был единственным человеком, юридически компетентным действовать в случае выселения. Стихотворение Вергилия, конечно, является мольбой за Мантию, но это явно мольба за весь город, а не только за его отца. Ориентиром в виде невысоких холмов и буков, до которых сохранилась собственность (IX.8), по-видимому, являются границы Мантуи, а не поместья Вергилия на низких речных равнинах. Тогда нам не нужно будет интересоваться в биографии Вергилия историей о том, что Аррий, или Клодий, или Клавдий, или Милен Торо загнали поэта в угольный бункер или сбросили его в реку.[13] Пастухи из поэмы - типичные персонажи, созданные для того, чтобы пройти через типичные переживания тяжелых времен.

[Сноска 13: см. Diehl, *Vitae Vergilianae*, стр. 58.]

Первая эклога, "Титир ту", по своему применению даже более общая, чем девятая. Хотя, конечно, это призвано выразить благодарность поэта Октавиану за благоприятный указ, это говорит от имени всех бедных крестьян, которые были спасены. Престарелый раб Титир

отражает не обстоятельства Вергилия, а скорее обстоятельства подневольных пастухов-арендаторов, [14] столь многочисленных в Италии в то время. Такие люди, хотя и были арендаторами, не могли законно владеть собственностью, поскольку были рабами. Но на практике им разрешалось и даже поощрялось накапливать имущество в надежде, что когда-нибудь они смогут купить свою свободу, а со свободой естественным образом придет гражданство и полное владение своими накоплениями. Многие бедные крестьяне, разбросанные по Италии, были колонистами такого типа, и они, несомненно, серьезно пострадали от выселений. Титир здесь изображен идущим в город просить о своей свободе, которая, в свою очередь, гарантировала бы право собственности. Такова аллегория, простая и логичная. Только старая привычка путать Титира с Вергилием затемнила смысл стихотворения. Однако истинная цель стихотворения заключается во второй части, где поэт выражает свое сочувствие несчастным, которых изгоняют из их домов; и то, что это представляет собой крик всей Италии, а не только его родного города, очевидно из того факта, что он помещает персонажей в типичную страну пастухов, [15] а не в мантуанские пейзажи, как в девятой. Жалоба Мелибея на тех, кто вынужден покинуть свои дома из-за варваров и мигрировать в Африку и Британию, чтобы начать жизнь заново, настолько пронзительна, что интересно, в каком настроении читал ее Октавиан. "En quo discordia cives produxit miseros!" прозвучало для него не очень лестно.

[Сноска 14: См. Leo, Hermes, 1903, стр. 1 и далее., допрошено Stampini, Le Bucoliche, '3 1905, стр. 93.]

[Примечание 15: Капуя и Нуцерия были двумя городами недалеко от Неаполя, где Вергилий мог видеть работу по выселению совсем рядом.]

Очень глубокое сочувствие Вергилия к бедным изгнанникам сквозит и в "Дирах", очень удивительном стихотворении, которое он написал в то же время, но, поразмыслив, замолчал. В ней есть горечь первой эклоги без ее изящества и тактичного начала. Триумвиры были не в настроении читать книгу плача. "Мед на ободке" был мудрым наставлением Лукреция, и, несомненно, это был благоразумный порыв, заменивший "Проклятия" Эклогой. Первое, вероятно, мало чего дало, второе даже не было бы прочитано.

Дирей имеет форму "проклятого кругляшка", форму, которую когда-то использовал Каллимах, который, возможно, унаследовал ее с Востока. Он призывает гнев небес на конфискованные земли на языке столь же горьком, какой когда-либо слышала гора Эбал: пожары и наводнения на посевах, гниль на фруктах и мор на бессердечных варварах, которые отправляют мирных крестьян в изгнание.

Обстановка снова напоминает Неаполь, кампанские холмы и морское побережье, а не Мантую.[16] Несомненно, Вергилий особенно имеет в виду несчастных бедняков Капуи и Нуцерии. Певцы - это два пастуха-раба, покидающие земли своего хозяина, который был лишен собственности. Стихотворение пронизано сильной ноткой жалости к любителям мира - "pii cives", скажем так, "пацифистам", - которые были наказаны за отказ вступить в гражданскую войну. Должно быть, кроткий философ сада испытывал к ним глубокую симпатию:

O male deuoti, praetorum crimina, agelli![17]

Tuque inimica pii semper discordia ciuis.

Exsul ego indemnatus egens mea rura reliqui,
Miles ut accipiat funesti praemia belli.
Hinc ego de tumulo mea rura nouissima uisam,
Hinc ibo in siluas: obstabunt iam mihi colles,
Obstabunt montes, campos audire licebit.[18]

[Сноска 16: Вполне возможно, что "Ликург" (л. 8), о котором говорится как об авторе этого злодеяния, имеет в виду Алфена Вара, который хвастался своим знанием закона. Гораций называет его Альфенусом вафером.]

[Сноска 17:

Вы, поля, проклятые за грехи наших государственных деятелей,
О Раздор, вечный враг мирных людей,
В нужде, изгнанник, не осужденный, Я сдаюсь
Мои земли, чтобы заплатить за порожденную адом войну.
Прежде чем я уйду отсюда, в последний раз взгляну на свои поля,
Затем я поворачиваюсь к лесу, чтобы закрыть тебя от нас
Скрылся из виду, но вы еще услышите мои проклятия.]

[Сноска 18: Лидия, которая приводится на рукописи, приложенной к Diraе, принадлежит не Вергилию. Также это не может быть знаменитое стихотворение с таким названием, написанное Валерием Катонем, несмотря на мнение Линдси, Класс. Рецензия, 1918, стр. 62. Это слишком незначительно и неэффективно, чтобы отождествлять его с этой работой. Стихотворение изобилует самомнениями, которые невротичный и сентиментальный ученик Проперция, не слишком искушенный в написании стихов, скорее всего, перенял бы у своего учителя.]

Для Вергилия отныне не было радости ни в войне, ни в ее плодах. Его преданность Юлию Цезарю не подвергалась сомнению, и Октавиан, когда показал себя достойным преемником и установил мир, унаследовал эту преданность. Но к патриотам, которые сражались в проигранной битве, у него было только сердце, полное жалости.

Ne pueri ne tanta animis adsuescite bella,
Neu patriae validos in viscera vertite viris;
Tuque prior, tu parce, genus qui ducis Olympo,
Projice tela manu, sanguis meus!

POLLIO

Наконец, мы подходим к двум эклогам, адресованным Асинию Поллиону. Этот замечательный человек был всего на шесть лет старше Вергилия, но он был достаточно взрослым, чтобы стать членом штаба Цезаря, и этот опыт быстро делал мужчин зрелыми. Вергилию он казался связующим звеном с последним великим поколением Республики. То, что Катулл изящно упомянул его в стихотворении, а Цинна написал ему пропемптикон, что Цезарь разговаривал с ним в роковую ночь на Рубиконе и что он был одним из корреспондентов Цицерона, возводило его на очень высокий пьедестал в глазах прилежного поэта, все еще нащупывающего свой путь. Вполне возможно, что Галл был узами, связывавшими Поллиона и Вергилия, поскольку в письме Поллиона к Цицерону мы находим, что первый во время кампании в Испании имел привычку обмениваться с Галлом литературной болтовней. Это было весной 43 года, несомненно, в то самое время, когда Поллион - как это делали тогда молодые люди - проводил свой досуг между сражениями за сочинением трагедий. Вергилий в своей восьмой эклоге, возможно, с чрезмерной похвалой, сравнивает эти пьесы с пьесами Софокла.

Эта эклога представляет собой одно из самых ярких исследований первобытных обычаев, созданных латинской поэзией, - немного реализма, пронизанного романтической пасторальной атмосферой. Первая пастушья песня повествует о неразделенной любви, которую лелеяли с детства к девушке, которая теперь выбрала никчемного соперника. Вторая - это песня, исполняемая в то время, как покинутая пастушка со скрупулезной точностью выполняет магические обряды, которые должны вернуть ей ее неверного возлюбленного. Конечно, есть воспоминания Феокрита, любое издание Эклог приведет их полностью, но Вергилию, пока он жил в Неаполе, не нужно было обращаться к сицилийским книгам за этими подробностями. Тот, кто знает общественные обычаи Кампании, магические заклинания, начертанные на стенах Помпей, смертельные проклятия, нацарапанные на прочном металле несчастными влюбленными, - проклятия, спрятанные под порогом или камнем домашнего очага соперницы, чтобы испортить ее щеки и сморщить глупое личико, - очень хорошо знает, что именно таких певцов мог встретить Вергилий в своих прогулках по холмам золотого залива.

Восьмая эклога утверждает, что была написана по приглашению Поллиона, который, очевидно, так рано понял, что Вергилий - поэт, заслуживающий поощрения. Выше было высказано предположение, что стихотворение не имеет никакого отношения к конфискациям, по крайней мере, насколько мы в состоянии понять историческую ситуацию. Обычно оно датируется годом албанской кампании Поллиона в 39 году, то есть через год после его консульства. Не лучше ли поместить это двумя годами ранее, когда Поллион оставил Цизальпинскую провинцию и удалился на верхнее побережье Адриатики, готовясь по приказу Антония выступить против иллирийских повстанцев? Весной 41 года Поллион разбил лагерь близ Тимава, упомянутого в строке 6; два года спустя естественным путем для него из Рима было проехать через Брундизий и Диррахий.[1] Этот момент не представляет особого интереса, за исключением того, что дата стихотворения помогает нам проследить влияние Поллиона на поэта и расположить эклоги в их хронологической последовательности.

[Примечание 1: Провинция Антония не простиралась дальше Скодры; дороги вниз по иллирийским горам от Триеста были нелегкими для передвижения армии; если Эклоги были составлены за три года (Донат), то 39 год - это слишком поздно. Наконец, Веллий, II, 76.2, ясно

дает понять, что в 41 году Поллион вопреки приказу остался в Венеции. Очевидно, в то время ему было приказано проследовать в Иллирию.]

Наконец, у нас есть знаменитая "мессианская" эклога, четвертая, которая была адресована Поллиону во время его консульства. Благодаря своему случайному сходству с пророческой литературой Библии, это стихотворение в свое время стало самым известным стихотворением на латыни и возвысило его автора до положения верховного мага в средневековом мире. Действительно, это стихотворение оказало большое влияние на спасение остальных произведений Вергилия от забвения, которому темные века предали по меньшей мере девять десятых латинской литературы.

Стихотворение было написано вскоре после заключения Брундизийского мира, в заключении которого Поллион принимал большое участие, когда вся Италия ликовала, спасаясь от очередной надвигающейся гражданской войны. Его непосредственная цель состояла в том, чтобы дать адекватное выражение этой радости и надежде одновременно в непреходящей летописи, которую римляне и правители Рима могли бы прочитать и не забыть. Его форма, по-видимому, была в значительной степени обусловлена странным аллегорическим стихотворением, написанным незадолго до заключения мира все еще неизвестным поэтом. Поэтом был Гораций, который в шестнадцатой эпохе откровенно выразил опасения римских республиканцев по поводу способности Рима выжить. Гораций смело задал вопрос, не было ли, в конце концов, долгом тех, кто все еще любил свободу, покинуть страну бесконечных войн и найти новый дом на дальнем западе - земле, которая все еще сохранила простые добродетели "Золотого века". Энтузиазм Вергилия по поводу нового мира выражается в ответе Горацию: [2] "Золотой век" не нужно искать где-то еще; в новую эру мира, которую сейчас открывает Октавиан, Девственная Справедливость вернется в Италию, и Золотой век наступит для этого поколения на итальянской земле. Вергилий, однако, привносит новый "мессианский" элемент в символику своей поэмы, поскольку он измеряет прогресс новой эры этапами роста ребенка, которому суждено, наконец, привести пророчество в исполнение. Эта счастливая идея вполне могла быть подсказана застольными беседами с Филодемом или Сиро, которые, должно быть, время от времени вспоминали истории о принцах-спасителях, которые они слышали в юности на Востоке. Угнетенный Восток был полон пророческих высказываний, обещающих возвращение независимости и процветания под руководством какого-нибудь давно ожидаемого достойного принца из скучно недостойных правящих династий. Действительно, поскольку Филодем провел детство в Гадаре под еврейским правлением, он вряд ли мог избежать знания о вполне определенных мессианских надеждах еврейского народа. Следовательно, вполне возможно, что случайный образ, конечным источником которого был не кто иной, как Исая, таким косвенным образом попал в поэму Вергилия, и монахи темных веков угадали это лучше, чем знали.

[Сноска 2: Селлар, Гораций и элегические поэты, стр. 123. Рамзи, цитируемый У. Уордом Фаулером, "Мессианская эклога" Вергилия, стр. 54.]

Пытаться отождествить ребенка Вергилия с определенным человеком было бы тщетной попыткой проанализировать поэтическую аллегорию. Современные читатели, несомненно, предполагали, что, поскольку Республика умерла, преемником власти после смерти Октавия и Антония, естественно, должен был стать сын одного из них.

Соглашения того года были скреплены двумя браками: Октавиана со Скрибонией и сестры Октавиана с Антонием. Достаточно было того, что от этих династических браков, естественно, можно было ожидать появления принца, достойного руководства, и что в любом случае это был бы отпрыск дома Октавиана.[3] До сих пор его читатели могли давать волю своему воображению; то, что на самом деле произошло впоследствии в результате череды неудач, не имеет, конечно, никакого отношения к данному вопросу. К Поллиону, очевидно, обращаются как к консулу, чей год ознаменовался миром, который, как надеялся и молился весь мир, будет длительным.

[Сноска 3: Смотри Класс. Фил. XI, 334.]

Теперь мы рассмотрели обстоятельства, вызвавшие к жизни Эклоги. Как говорит Донат, они, по-видимому, были написаны в течение трех лет. Вторая, третья, седьмая и шестая, по-видимому, относятся к 42 году, десятая, пятая, восьмая, девятая и первая - к 41 году, в то время как Поллион определенно относится к 40 году, когда Вергилию исполнилось тридцать лет. Написание этих стихотворений все больше и больше отдаляло поэта от философии и приближало его к страданиям и переживаниям его собственного народа. Он нашел тему по душе, а вместе с этой темой пришли стиль и экспрессия, соответствующие его гению. Он отказался от эллинистического тщеславия с его изяществом чувств, овладел легкой модуляцией речи, легко реагирующей на самые разные эмоции, усвоил достоинство своего родного языка по мере того, как проникался более глубоким сочувствием к страданиям своего собственного народа. Есть новая нота, как есть новый ритм в:

Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo.

XIII

КРУГ МЕЦЕНАТОВ

Юлий Цезарь по горькому опыту знал, что поэты - опасные враги. Намеки Цицерона были достаточно неприятны, но о них можно было забыть. Однако, когда Катулл и Кальв облекли их в едкие эпиграммы, забвения не последовало. Несомненно, это было главной причиной постоянных усилий Цезаря завоевать расположение молодых поэтов, и в конце концов он действительно завоевал расположение Кальва и Катулла. Действовали ли Октавиан и его мудрый советник Мекенат из тех же побуждений, мы не знаем, хотя они тоже видели в эпиграммах Вергилия на творения Антония и в шестнадцатой эподии Горация, что поэты нового поколения, похоже, могли эффективно выражать политические настроения. Во всяком случае, новый римский двор очень скоро начал делать щедрые предложения литераторам того времени.

К Поллиону, старшему Октавиана на много лет и происходившему из знатной семьи, вряд ли можно было подойти. Хотя он постепенно отдалялся от Антония, он был так тесно связан с этим блестящим товарищем времен своей галльской войны, что предпочитал не занимать подчиненного положения при римском дворе. Мессалла, поступивший на службу к Антонию, также был недостижим. В Неаполе оставался блестящий кружок молодых людей, чьи имена встречались в посвящениях лекций Филодема: Вергилий, Варий, Плотий и Квинтилий Вар, по

крайней мере трое из которых были с севера и, естественно, были склонны смотреть на Октавиана с симпатией.

Варий уже написал свою эпопею О смерти, которая, по-видимому, оплакивала смерть Цезаря, и, хотя и скрытым языком, он с горечью намекал на узурпацию власти Антонием в год, последовавший за убийством. До появления эпоса Вергилия именно Вариус всегда считался эпическим поэтом группы. О Плотии Также мы мало что знаем, за исключением того, что его называют поэтом, он был постоянным членом кружка и вместе с Вариусом был литературным душеприказчиком, опубликовавшим произведения Вергилия после его смерти. Квинтилий Вар, как и Варий, был родом из Кремоны, близко знал Катулла и, если мы примем точку зрения Сервия на шестую эклогу, был самым преданным товарищем Вергилия в школе Сиро. Он также принимал некоторое участие в гражданских войнах, и на него стали смотреть как на очень твердого сторонника здоровых литературных стандартов.[1] "Ouis desiderio" Горация показывает, что Вар был одним из самых преданных друзей Вергилия.

[Сноска 1: ср. Гораций, *Ars Poetica*, 440.]

Положение Вергилия как выдающегося из этих поэтов, несомненно, утвердилось благодаря публикации Эклог. Они взяли Рим штурмом, и их даже положили на музыку и пели на сцене в соответствии с александрийской модой, господствовавшей тогда в столице. Октавиана, конечно, привлек к ним личный интерес. Поэту подарили дом в садах Мецената на Эсквiline в надежде заманить его в Рим. Вергилий, несомненно, провел некоторое время в городе, прежде чем обратиться к более серьезной задаче георгики, но нам говорят, что он предпочел неаполитанский залив и основал там свой дом. Эта группа, по-видимому, была определенно втянута в окружение Октавиана вскоре после заключения Брундизийского мира и сформировала ядро своего рода литературной академии, задавшей стандарты эпохи Августа.

Введение Горация в этот круг создает интересную историю. Он был на пять лет моложе Вергилия и получил высшее образование в Афинах. Там Брут нашел его в 43 году, когда он посещал философские лекции, чтобы скрыть свои политические интриги; и хотя Гораций был сыном вольноотпущенника, Брут присвоил ему высокое звание военного трибуна. Брут как республиканец, конечно, был приверженцем всех аристократических обычаев. То, что он даровал Горацию звание рыцаря, вероятно, указывает на то, что *libertinus pater* был военнопленным, а не человеком рабского происхождения, и, следовательно, только технически был "вольноотпущенником". В практической жизни римляне соблюдали это различие, хотя обычно это было невозможно сделать в политической жизни. После Филиппов Гораций оказался с побежденными остатками и вернулся в Италию только для того, чтобы обнаружить, что его имущество было конфисковано. Он стремился к литературной карьере, но, вынужденный зарабатывать себе на хлеб, он купил бедную должность клерка в казначействе. Затем, в свободные минуты, он писал - сатиру, конечно. Что еще могли породить такие обломки энтузиазма и амбиций?

Его единственной надеждой было привлечь внимание какого-нибудь доброжелательно настроенного литератора, и по какой-то причине он выбрал Вергилия. Эклоги еще не вышли, но "Кулек" был в ходу, и он положил эту пасторальную сцену в основу эпода - второго, - написанного с немалым добродушием. Гораций представляет себе брокера с форума, читающего этот отрывок и, совершенно увлеченного чередой восхитительных сцен, решающего бросить бизнес ради простой жизни. Соответственно, он забирает все свои деньги

в Календарные дни - в Иды он снова дает их взаймы![2] Что Вергилий написал Горацию, когда получил экземпляр "Эпода", нам не сообщается, но в своем следующем произведении "Георгики" он вернул комплимент, аналогичным образом вставив фразы Горация в описание сельской жизни - отрывок, который действительно является одним из самых удачных в книге.[3]

[Сноска 2: Сцены Горация (его память скорее визуальная, чем слуховая) безошибочно воспроизводят сцены Кулекса; ср. Кулекс 148-58 с эпизодами 26-28; Кулекс 86-7 с эпизодами 21-22; Кулекс 49-50 с эпизодами 11-12; и т.д. Полное сравнение сделано в "Классической филологии", 1920, стр. 24. Конечно, можно было ожидать, что Вергилий распознает отсылки к своему собственному стихотворению.]

[Сноска 3: См. *Georgics*, II, 458-542, и обсуждение этого в "Классической филологии", 1920, стр. 42.]

Сочинение Горацием шестнадцатой эподы - по-видимому, вскоре после второй - дало Вергилию возможность узнать нового поэта и ответить на его пессимистический призыв жизнерадостным пророчеством четвертой эклоги, как мы видели. К этому времени мы можем предположить, что между двумя поэтами возникла тесная дружба, укрепленная, конечно, дружеским общением теперь, когда Вергилий мог проводить часть своего времени в Риме. Сам Гораций рассказывает, как Вергилий и Варий познакомили его с Меценатом (Сб. 1. 6), важным событием в его карьере, произошедшим незадолго до путешествия Брундизия (Сб. 1. 5). Меценат несколько колебался, прежде чем принять близость молодого сатирика: Гораций совсем недавно сражался во вражеской армии, критиковал правительство в своих Эпадах и принадлежал к классу - по крайней мере, технически, - который Октавиан был предупрежден не признавать в обществе, если только он не был готов оскорбить старую знать. Но исполненная достоинства откровенность Горация завоевала ему доверие мецената; и чтобы не возникло недоразумений, он включил в свой первый сборник сатир простой рассказ о том, кем он был и надеялся стать. Таким образом, усилиями Вергилия и Вариуса он вошел в круг, руководящим духом которого ему было суждено стать.

Таким образом, был сформирован кружок, который под таким могущественным покровительством должен был стать своего рода неофициальной комиссией по регулированию литературных стандартов. Это был важный вопрос не только для самих молодых людей, но и для будущего римской литературы: какое направление выберет эта группа и чье влияние будет преобладать. Это мог быть Меценат, владелец кошелька, человек, который не мог сдержать своего стремления выразить себя ни в прозе, ни в стихах. Этот этруск, немногие сохранившиеся страницы которого раскрывают тот факт, что он так и не осознал достоинства римского языка, что он был совершенно не римлянин по темпераменту в своей любви к показной безвкусице и красоте, мог бы нанести неисчислимый вред этой школе, если бы его вкус хоть в малейшей степени повлиял на это. Но то ли он воздержался от своего изречения, то ли им пренебрегли другие, в литературе той эпохи нельзя обнаружить никакого его влияния.

Аполлодор, престарелый учитель Октавиана, человек очень большого личного влияния и весьма уважаемый, вероятно, значил больше. В своих лекциях и книгах, одну из которых, Вальгиус, член кружка, перевел на латынь, он проповедовал доктрины целомудренного и достойного классицизма. К счастью, его кредо соответствовало тенденциям того времени, и независимо от того, можно ли назвать это учение причиной или же его популярность является

следствием ранее существовавших причин, мы знаем, что этот человек стал олицетворением многих идеалов школы.

Но чтобы проследить связь этих идеалов с умственным развитием Вергилия, мы должны на мгновение оглянуться назад, на тенденции эпохи Катулла, из которой он вышел. В любопытном отрывке, написанном вскоре после этого, Гораций, группируя поэтов по их стилям и отделам,[4] помещает Вергилия в отдельный класс. Сначала он упоминает напыщенного эпического поэта, к которому у него нет никакого уважения. Затем есть Варий и Поллион, в "эпосе" и "трагедии" соответственно, чью напористую прямолинейность он одобряет. В комедии его друг Фунданий олицетворяет домашнюю простоту, которую он высоко оценивает, в то время как Вергилий олицетворяет мягкость и учтивость (*molle atque facetum*).

[Сноска 4: Сб. I. 10, 40 и далее.]

Этот отрывок важен не только потому, что он раскрывает современный взгляд на позицию Вергилия, но и потому, что он показывает Горация таким ранним представителем "классического" круга, принципы которого в конце концов возобладали. В этом отрывке Гораций использует категории стандартных учебников риторики того времени[5], которые были привычны классифицировать стили на четыре типа: (1) Величественный и витиеватый, (2) величественный, но строгий, (3) простой и аскетичный, (4) простой, но изящный. Первые два стиля, очевидно, могут быть использованы в судебной прозе или в амбициозных поэтических произведениях, таких как эпосы и трагедии. Гораций явно отверг бы первое, представленное, например, Гортензием и Пакувием, в пользу сурового достоинства и силы второго, под влиянием таких людей, как Корнифиций в прозе и Варий и Поллион в стихах. Два типа "простого" стиля использовались в более скромных литературных произведениях, как в прозе, так и в такой поэзии, как комедия, эпиллион, пасторальные стихи и тому подобное. Строгой простоте отдавал предпочтение Кальпурний в своих речах, Катулл в своей лирике [5], в то время как более отточенная и близкая к прецизионной простота была проиллюстрирована в речах Калпурния и в александрийском эпиллоне "Пелея и Фетиды" Катулла, а также в "Кирисах и буколиках" Вергилия.

[Сноска 5: например, Деметрий, Филодем, Цицерон; из. Класа. Фил. 1920, стр. 230.]

Выбирая между этими двумя, Гораций, конечно, симпатизирует идеалам сурового и целомудренного стиля, которые он находит в комедиях Фунданий. Ранние работы Вергилия, какими бы неамбициозными и "простыми" они ни были, попадают, конечно, в последнюю группу; и хотя Гораций дружески отмечает свой типаж, чувствуется, что он признает его скорее по дружеским соображениям, чем из-за какой-либо врожденной симпатии к нему. Своим сопоставлением он показывает, что классические идеалы второго и третьего из четырех "стилей" ему наиболее симпатичны. Моллитудо не находит одобрения ни в своих собственных работах, ни в критике работ других людей. Таким образом, Вергилий, хотя и фигурирует в этом августовском кружке как важный член, по-прежнему считается чем-то вроде вольноотпущенника, который придерживается александрийского искусства [6], не полностью соответствующего стандартам, которые сейчас формулируются. Если бы Гораций повиновался только своим литературным инстинктам, он, вероятно, отнес бы Вергилия в тот период к молчанию, которое он уделял Каллу и Проперцию, если бы не открытая враждебность, которую он выражал к александрийству Катулла. О широте симпатий Вергилия свидетельствует тот факт, что онни на йоту не уступил в своей преданности Катуллу и Галлу и что он завоевал глубокое

уважение Проперция, оставаясь другом и компаньоном придворной группы, стремящейся к более строгому классицизму. Если мы попытаемся классифицировать ранних августинцев, то обнаружим, что они выстраиваются таким образом. Строгими классицистами являются Гораций-сатирик, Варий - автор эпоса, Поллион - трагедии; в то время как Вар, Валгий, Плотий и Фунданий, хотя и менее продуктивные, используют свое влияние для поддержки этой тенденции, как это делает Тибулл несколько позже. Вергилий - близкий друг этих людей, но отказывается принимать аксиомы какой-либо одной школы; его друг Галл - свободный романтик, и несколько лет спустя Проперций следует этому направлению.

[Примечание 6: Гораций, несомненно, видел не только "Кулекс", но и несколько других второстепенных произведений, которые Вергилий так и не соизволил пустить в широкое обращение.]

Влияний, оказавших влияние на классицизм, было много. Аполлодор, учитель Октавиана, должно быть, был сильным фактором, но поскольку его работа была утрачена, ее вес сейчас невозможно оценить. Свою любовь к суровым идеалам Гораций, конечно, впитал в Афинах. Там его учителями были риторы-стоики, которые воспитали в нем бескомпромиссное уважение к стилистическим правилам.[7] Конечно, он читал эллинистических поэтов и в своих стихах обнаруживает их живую память о них, но именно великая эпоха греческой поэзии сформировала его стиль. Таковы иностранные влияния. Но не следует забывать о коренных римских факторах. На самом деле именно классицистические "Катулл и Кальв" с простой, прозрачной лирикой, написанной на чистой, беспримесной повседневной латыни, научили новое поколение отвергать поздний эллинистический стиль "Катулла и Кальва", как показано в романсах в стихах. Вар, Поллион и Варий были достаточно взрослыми, чтобы лично знать Катулла и Кальва, помнить дни, когда стихи, подобные "Diana sumus in fide", только выходили в свет, и они были поэтами, которые могли оценить совершенное искусство такого произведения даже после того, как их авторы были увлечены честолюбием на опасные окольные пути. Одним словом, именно Катулл и Кальв, поэты-лирики, дали возможность следующему поколению отвергнуть неотерических романтиков Катулла и Кальва.

[Сноска 7: О стилистических принципах учителей-стоиков см.

Фиске, Луцилий и Гораций, стр. 64-143. Аполлодор, по-видимому, ритор, которого Гораций называет Гелиодором в Сб. I, 5, см. Класс. Фил. 1920, 393.]

Поэтому современному человеку трудно сдержать справедливое негодование, когда он обнаруживает, что Гораций с насмешкой отзывается об этих двух великих предшественниках. И все же мы можем, если захотим, найти адекватное объяснение позиции Горация. Очень немногим поэтам всех времен удавалось запечатлеть и удержать поколение, сразу же пришедшее на смену. Чем сильнее впечатление, производимое гением, тем дальше склонен качаться маятник одобрения. Неотероям пришлось столкнуться, в дополнение к этому отвращению, с несчастьями того времени. Гражданские войны, которые надвигались на них вплотную, мало повлияли на сентиментальность их романов или замысловатую манеру их сочинения. И снова Катулл и Кальв были чрезмерно жестоки в своих напаках на Юлия Цезаря, персонажа, вознесенного до небес войной и последовавшим за ней мученичеством. И, по воле судьбы, почти все новые литераторы были, как мы видели, особенно преданы Цезарю. Мы

достаточно знаем о войнах, чтобы обнаружить, что сильная партизанщина заглушает литературные суждения, за исключением очень немногих людей с необычнымравновесием. Вергилий был одним из очень немногих; он все еще держал свою свечу зажженной в святилище Катулла, но вряд ли этого можно было ожидать от остальных.

И в прозе августины поддерживали утонченное и целомудренное творчество классического аттицизма, идеал, который они заимствовали у римлян предыдущего поколения, а не у таких учителей, как Аполлодор. Поллион и Мессалла в настоящее время являются выдающимися ораторами. Поллион был близок как к Кальву, так и к Цезарю и был свидетелем отвращения к стилю Цицерона, который продолжал двигаться в своем прежнем неторопливом русле даже после того, как гражданская война ускорила пульс людей. Возможно, на Мессаллу повлиял пример его полководца Брута, человека, который никогда не тратил слов попусту (пока сохранял самообладание). Мессалла и Поллион были диктаторами стиля прозы в этот период.

Таким образом, мы находим Вергилия в особом положении. Он все еще был признан учеником Катулла и александрийцев в то время, когда маятник так сильно качнулся в сторону от республиканских поэтов, что они даже не получили признания за уроки, которые они так хорошо преподали новому поколению. Сам Вергилий в каждом новом произведении все больше и больше склонялся к классицизму, но до последнего продолжал чтить Катулла и Кальва, Цинну и Корнифиция, а также своего друга Галла в комплиментарном подражании или дружеском упоминании. Новая Академия гордилась тем, что приняла его в свои ряды, хотя, несомненно, знала, что Верджил был слишком велик, чтобы подчиняться правилам. По прошествии веков, в то время как Гораций зарекомендовал себя экстремистом, который ставил закон выше духа, Вергилий, почитающий прошлое и приветствующий будущее, занял позицию самого представительного поэта Рима.

XIV

"ГЕОРГИКИ"

Годы, последовавшие за публикацией Эклог, похоже, были сезоном чтения, путешествий, наблюдений и размышлений. Мecenат желал оставить поэта в Риме и в качестве поощрения предоставил ему виллу в своих собственных садах на Эсквилине. Слава *digitus praetereuntium* ожидала его прихода и ухода, его буколки были положены на музыку и исполнялись в концертных залах под бурные аплодисменты.[1] Кажется, он даже прилагал усилия, чтобы быть социально близким по духу. В инсценировке его эпоса присутствует глубокое знание придворных обычаев; а в четвертой книге Горация переработанная ранняя поэма в манере Филодема изображает Вергилия - по-видимому, поэта - любимцем модного мира. Но все это его не привлекало. Рим действительно взывал к его воображению, *Roma pulcherrima rerum*, но это был невидимый Рим, а не суматоха и безумие, это был город нетронутых идеалов, непреодолимой мощи, конкурса героев Анхиза. Проходя по Форуму, он видел не только сверкающие памятники в их новой мраморной облицовке, но и за ними, в далеком прошлом, соломенную хижину Ромула и священную рощу на Капитолии, где дух Юпитера охранял народ более простого благочестия.[2] И на протяжении веков он видел героев, законодателей и правителей, которые превратили Форум во двор всемирной империи. Рим его времени был

слишком лихорадочным, и вскоре это заставило его вернуться на свою виллу с садом недалеко от Неаполя.

[Footnote 1: Tacitus, Dialogus, 13: Malo securum et quietum Vergilii secessum, in quo tamen neque apud divum Augustum gratia caruit neque apud populum Romanum notitia. Testes Augusti epistulae, testis ipse populus, qui auditis in theatro Vergilii versibus surrexit universus et forte praesentem spectantemque Vergilium veneratus est quasi Augustum.]

[Сноска 2: Энеида VIII.]

Хорошо, что у него было такое убежище в те годы мелких политических дразг. Столица все еще гудела от слухов о гражданской войне. Антоний, казалось, был полон решимости отделить восточные провинции от империи и сделать из них подарок Клеопатре и ее детям - безумный курс, который мог закончиться только еще одной мировой войной. Секст Помпей все еще удерживал Сицилию и центральные моря, готовый предать государство при первом неверном шаге со стороны Октавиана. В самом Риме было много высокопоставленных граждан, которые были не согласны с правительством и вполне готовы были выступить в защиту Антония или Помпея, если бы кто-нибудь из них оказался подходящим кандидатом для юного наследника Цезаря. Очевидно, что великая римская эпопея не могла вырасти в такой атмосфере подозрительности, интриг и эгоизма. Конвульсии умирающей республики, видимые день за днем совсем рядом, могли вызвать только отвращение, достаточное, чтобы отравить чуткую надежду поэта. Действительно, повезло, что Вергилий смог избежать всего этого, что он смог сохранить в переходный период воспоминания о былом величии Рима и веру в его предназначение, которую впитал в юности. Пришло время, когда Октавиан после Акции твердой рукой воссоединил Империю и оправдал жизнерадостный оптимизм, который Вергилий, почти единственный из своего поколения, смог сохранить.

За эти несколько лет Вергилий, кажется, написал очень мало. Однако у нас есть странное стихотворение из тридцати восьми строк "Копа", которое, судя по его исключению из Каталептона, возможно, следует отнести к этому периоду. Этюд в умеренном реализме, мало чем отличающийся от восьмой эклоги, он дает нам песню служанки сирийской таверны, приглашающей путников в свою гостиницу с жаркой и пыльной дороги. Дух превосходно воспроизведен в залихватском переводе Кирби Смита:[3]

[Сноска 3: См. Кирби Флауэр Смит, "Брак", "Эпиграмматист" и "Другие эссе", издательство Джона Хопкинса, 1920, стр. 170. Приписывание поэмы Вергилию древними, а также рукописями и стиль ее причудливого реализма, столь характерный для большей части работ Вергилия, помещают поэму в подлинный список. Рэнд, "Поэзия молодого Вирджила", "Гарвардские исследования", 1919, стр. 174, хорошо суммировала аргументы относительно авторства стихотворения.]

Это было в прокуренной таверне, и она, хозяйка там...

Раскрасневшаяся от вина сирийская девушка с тюрбаном на волосах -

Выбивайте хриплый темп из тростника обеими руками,

И станцевала - изящная распутница - ионическую сарабанду.

"Жарко, - пела она, - и пыльно; нет, путники, куда направляетесь?"

Останься здесь и опрокинь мензурку - пока весь мир не повернется;
Ждите здесь и попросите кувшины с вином, музыку, цветы,
Зеленые беседки, прекрасные сады, прохладные кроны, покрытые листвой беседки.
В нашем аркадском гроте нам есть с кем поиграть
На свирелях, в пастушьей манере, под приятную музыку весь день.
Мы вскрыли бочку, но совсем недавно; наш маленький оживленный ручей
Будет тихо булькать рядом с вами, пока вы пьете и мечтаете.
Венки из желтых фиалок -вы их найдете в изобилии,
И великолепные алые розы в переплетенных гирляндах;
И корзины , полные лилий , которые принесет водяная нимфа -
Белые лилии, которые этим утром отражались в ее весне.
Вот сыр, только что спрессованный в тростниках, для всех, кто придет,
И, о чудо, Помона присылает нам свои отборные золотистые сливы.
Красная шелковица ждет вас, а также поздний фиолетовый виноград,
Темные дыни в тростниковых оболочках у садовой стены,
Коричневые каштаны, румяные яблоки. Божества ждут здесь,
Прекрасная Церера, Купидон, Бахус, эти боги всеобщего веселья,
И Приап тоже - вполне безобидный, хотя и страшный на вид -
Наш маленький лиственный надзиратель с косой из надежного дерева.
- Эй, монах с ослом, возвращайся и будь нашим гостем!
Твой ослик - любимец Весты - устал; дай ему отдохнуть.
На каждом дереве саранча с ее пронзительным криком все еще возобновляется,
И в прохладе под кустами ежевики лежит ящерица перду.
Так что попробуйте наши летние кружки для глубоких глотков для измученных жаждой мужчин;
Затем наполните наши хрустальные бокалы и снова налейте себе соуса.
Пойдем, красавчик, ты устал! Тебе лучше всего скрутиться
Увенчай свою тяжелую голову розами и отдохни под нашей виноградной лозой,
Где тебя ждут изящные руки и манят ароматные губы;
О, повесьте модель в узких кружевах, которая играет отшельницу!

Сладкие гирлянды на остывший пепел зачем тебе беречь?

Или ты предпочел бы сохранить их, чтобы положить на свою могилу?

Нет, выпей и встряхни коробку с игральными костями. Забудь о завтрашних заботах!

Смерть дергает тебя за рукав и шепчет: "Живи сейчас, я скоро приду".

Воспоминания о неаполитанском заливе! "Кубок" следует читать в беседке остерии в Сорренто или на Капри в ритме тарантеллы, где современные отпрыски вергилиевской трактирной служанки все еще демонстрируют прохожим искусство песни и танца.[4]

[Сноска 4: К сожалению, доказательств недостаточно, чтобы приписать "Моретум" Вергилию, хотя он, безусловно, был написан подлинным, хотя и несколько запинаящимся поэтом, причем во времена Вергилия. В нем много образных фраз, и скрупулезная точность его миниатюрной работы могла бы показаться вергилиевской, если бы не нерушимая ясность темы. Тем не менее, это можно было бы считать экспериментом в новом стиле, если бы довольно сомнительные свидетельства из рукописей были подкреплены единственной древней цитатой. См. Rand, loc. Cit. стр. 178.]

Есть также три кратковременных Приапея, которые, вероятно, следует отнести к этому периоду. Третья, возможно, действительно была надписью на пьедестале бога-пугала, призванного отгонять вороватых грачей и ежей от собственного сада поэта:

В этом месте, ребята, я процветаю, и лачугу тоже охраняю,

Покрытый, как вы видите, ивами, тростником и разросшейся травой

Во всем окружающем его болоте; отсюда и я, простой дубовый пень,

Сформированные фермерским топором, они теперь зывают к богу.

Они благоговейно приносят мне подарки, учитель и его сын,

Предположим, я податель благословений, которыми они наслаждаются.

Добрый старик каждое утро приходит сюда пропалывать землю,

Он очищает святилище от чертополоха и репейника, которые растут вокруг.

Юноша приносит изысканные подношения маленькой, но ловкой рукой:

На заре весны он венчает меня роскошной гирляндой ромашек,

С самого раннего летнего сбора урожая, пока стебель еще зеленый,

Он венчает мой лоб венками; он наполняет мои корзины дочиста

С золотистыми анютиными глазками, маками, со спелыми яблоками и тыквами,

Первые сочные румяные гроздья винограда, которые он хранит для меня.

И один раз к моей великой чести - но пусть никто не скажет об этом богу! -

Он принес мне на алтарь ягненка из загона.

Так что, мои ребята, я не Пугало и не истинный бог,

Мой хозяин и его виноградник мне очень дороги.

Держитесь подальше от своих воровских лап, ребята, и занимайтесь воровством в других местах:

Наш сосед - скряга, его Пугало не получает подарков,

Его яблоки не охраняются - тропинка слева от вас.

Причудливая простота чувства и игривое удивление в конце быстро разоружают любой скептицизм, который мог бы отрицать в этих строках Горация поэта "нежного юмора".

В этот период поэт, по-видимому, тоже путешествовал. Меценат наслаждался обществом литераторов, и мы вполне можем предположить, что он брал с собой Вергилия в свои административные поездки не в одном случае, который, как оказалось, записан Горацием. Поэт, несомненно, замечательно хорошо знает Италию. Скучные и неточные карты и географические труды того времени не могли дать ему того понимания деталей, которое раскрывают "Георгики" и последние шесть книг "Энеиды". Мы, конечно, знаем из третьей оды Горация, что Вергилий побывал в Греции. Это знаменитое стихотворение, так сказать, "письмо с парохода", не датировано, но вполне может быть продолжением "Дневника Брундизиана". Странный поворот, который принимает стихотворение, - его ужас перед опасностями моря - по-видимому, указывает на то время, когда воспоминания Горация о его собственном кораблекрушении были еще очень живы.

Было также время для обстоятельного чтения. Обширное изучение "Георгики" и "Энеиды" убедительно доказывает, что Вергилий широко и глубоко разбирался в философии и истории, древностях и всей лучшей в мире прозе и поэзии. Эпическая история, которую он рано задумал, должно быть, все это время находилась очень близко к порогу его сознания, поскольку его разум продолжал улавливать и накапливать подходящие инциденты и зародыши плодотворных знаний. Упоминания об Энее встречаются то тут, то там в Георгиках, а таинственное обращение к Мантуе в третьей книге обещает, используя аллюзионные метафоры, эпос о троянских героях. Поэт также не мог забыть философский труд, над которым он так долго размышлял. Однако после уверенного успеха "Лукреция" усилились сомнения в его способности оправдать себя. Замечательное признание во второй книге "Георгики" раскрывает его убежденность в том, что в этом стихотворении он из-за неуверенности выбрал второстепенную тему физической и чувственной привлекательности природы, в то время как он гораздо охотнее испытал бы интеллектуальную радость от проникновения во внутренние тайны природы.[5]

[Сноска 5:

Me vero primum dulces ante omnia Musae,

Quarum sacra fero ingenti percussus amore,

Accipiant, caelique vias et sidera monstrent -

Sin, has ne possim naturae accedere partes,

Frigidus obstiterit circum praecordia sanguis,

Rura mihi et rigui placeant in vallibus amnes.

Георгики, II. 475. и далее.

Была ли эта поразительная апология георгики навязана Вергилию тем фактом, что в "Этне", 264-74, он назвал крестьянские предания тривиальными по сравнению с наукой?]

Хотя нам не нужно воспринимать слишком буквально вступительные замечания поэта, Вергилий, несомненно, надеялся, что его Георгика сможет направить мысли людей к серьезным усилиям по восстановлению сельского хозяйства, и практично настроенный меценат, безусловно, поощрял эту работу с какой-то такой целью. Правительство вполне могло быть глубоко обеспокоено. Ветераны, которые недавно заселили многие из лучших участков Италии, не могли быть квалифицированными фермерами. Сам факт, что земли были даны им за политические заслуги, мог только натолкнуть проницательных среди них на мысль, что старое римское уважение к правам собственности было нарушено, и что было бы разумно продать их как можно скорее и уехать с какой-нибудь ощутимой выгодой, прежде чем очередная революция приведет к новому перераспределению. Подобные подозрения вряд ли могли породить терпение, необходимое для развития сельского хозяйства. И все же это было как раз то время, когда сельское хозяйство следовало поощрять. Большая часть пахотных земель была заброшена под выпас скота в течение предыдущего столетия из-за импорта зерна, выплачиваемого провинциями на жалованье, и Италия утратила обычай увеличивать количество продовольствия, в котором нуждалось ее население. В результате контроль младшего Помпея над Сицилией и торговыми путями вызвал серию массовых голодоморов и последовавших за ними хлебных бунтов. Год за годом Октавиану не удавалось заманить в ловушку или победить этого несносного мятежника. В лучшем случае он мог откупиться от него на некоторое время, хотя никогда не знал, в какой сезон дефицита покупная цена может стать непомерно высокой. Таким образом, выбор темы для Вергилия совпал с потребностью, которую ценили все люди.

Георгики, однако, написаны не в духе колониальной рекламы. В "Юном Кулексе" Вергилий несколько чересчур подчеркивал певчих птиц и прохладную тень и навлек на себя добродушное замечание Горация о том, что Альфиус не находит условия в сельской местности такими очаровательными, как изображено. На этот раз поэт не рисует идеализированный пейзаж. Какой бы заманчивой ни была картина, Вергилий настаивает на необходимости непрерывного, беззаветного труда. Он перечисляет сорняки и болезни, вредителей и паразитов, с которыми фермер должен бороться. Действительно, именно в размышлениях о тяжелой жизни он находит свою честную жизненную философию: Евангелие спасения через труд. Трудности обостряют изобретательность человека; сам Бог ради блага человека положил конец веку золотой лени, стряхнул мед с деревьев и напоил гадюк их ядом. Человек был оставлен в одиночестве бороться с упрямой природой и в этой борьбе открывать свою собственную ценность. Георгики далеки от пасторальных аллегорий; Италия больше не Аркадия, это просто Италия во всей ее красе и жестокости.

Восхищение природой у Вергилия по сути римское, хотя и несколько более застенчивое, чем у его собратьев. В нем мало того сентиментального восторга, который открыл для нас восемнадцатый век. Вергилий вряд ли стал бы стоять в позе перед ужасающей

торжественностью моря или величию широких видов, открывающихся с горных вершин. С вершин итальянских холмов открываются виды на многочисленные очаровательные пейзажи, но нет сцен завораживающего величия или внушающего благоговейный трепет запустения, а море до появления компаса слишком наводило на мысль о смерти и скорби, чтобы обращать внимание на его беззаконную красоту. Эти аспекты природы должны были быть открыты в результате более позднего опыта в других странах. На первый взгляд кажется, что Верджилия больше всего волнуют очевидные дары щедрых удобств Италии, физическое удовольствие от свободного времяпрепровождения на свежем воздухе, форма и цвет пейзажей, полноценная жизнь. Однако по мере чтения начинаешь осознавать близость и общение с живыми существами, которые уходят глубже. Особенно во второй книге сами травинки и усики виноградных лоз кажутся разумными. Привитые деревья "с удивлением созерцают" странные листья и плоды, растущие из их стеблей, пересаженные побеги "отбрасывают свои лесные инстинкты", жаждущее растение "поднимает голову" в знак благодарности, когда его поливают. Наше собственное поколение, которое усердно втягивалось в изучение природы с помощью книг, напичканных "жалкими ошибками", стало с подозрением относиться ко всему, что сродни "подделке под природу". Стало известно, что это устройство было уловкой, использованной хитроумной педагогикой для того, чтобы привлечь внимание лишенных воображения детей. Вергилий, вероятно, был далек от осознания какой-либо такой цели. Как римлянин, он просто выразил способ видения природы, который все еще казался естественным большинству греков и римлян. Римский земледелец еще не полностью перерос свой примитивный анимизм. Когда он возносил свои молитвы духам рощ, полей и ручьев, он, вероятно, не представлял себе этих существ в человеческом облике; проявления жизни означали духов, производящих жизнь и рост. Фразы Вергилия являются поэтическим выражением анимизма бесхитростного простака, который в более раннем возрасте сформировал великие мифы о природе.

И если бы Вергилия спросили о его собственной вере, он вполне мог бы найти последовательный ответ. Хотя он сам давно перестал отдавать дань уважения этим животным, его философия, подобно философии Лукреция, также искала жизненный принцип в природе, хотя он искал этот принцип на шаг дальше, в атоме, оживленных семенах вещей, вечно находящихся в движении, вечно создающих новые комбинации и вечно творящих чудеса жизни посредством энергии, которой они сами были наделены. инстинкт. Запоминающиеся строки о весне во второй книге облечены в форму старинной поэзии, но в основе их лежит эпикурейский энергизм, как в "проэмии" Лукреция. Изучение эволюции Вергилием также объединило для него человека и природу, сделав возможной романтику георгики; это сформировало своего рода научный анимизм, который позволил ему принять язык простого крестьянина, даже несмотря на то, что его коннотации были для него более сложными и утонченными.

Наконец, внимательный читатель обнаружит в поэзии природы Вергилия очень современное внимание к деталям, которое мы вряд ли ожидали встретить ранее девятнадцатого века. И здесь Вергилий снова является спутником Лукреция. Эта привычка, по-видимому, была составным продуктом. Составляющие - способность удивляться, которую мы находим у некоторых великих поэтов, таких как Вордсворт и Платон, гений подмечания деталей, воспитанный в нем, как и в Лукреции, долгим занятием дедуктивными методами философии, - научные занятия, таким образом, обогатили и современную поэзию, - и несомненное эстетическое чувство. Эта наблюдательность была упущена из виду многими комментаторами Вергилия. Конингтон, например, часто оказывал поэту несправедливость, предполагая, что Вергилий ошибался,

когда его утверждения, по-видимому, не согласуются с тем, что нам известно. Теперь мы научились быть более осторожными. Обычно более безопасным является предположение, что наше наблюдение ошибочно. Недавнее исследование "Деревья, кустарники и растения Вергилия", освещающее бесчисленные детали, то тут, то там впадало в ту же ошибку, не замечая, что Вергилий писал свои буколики и георгики не близ Мантуи, а на юге Италии. Современный ботанический критик Вергилия должен, как сказал Маккайл, изучать флору Кампании, а не Ломбардии. В каждой строке композиции Верджил прилагал бесконечные усилия, чтобы передать точную обстановку и атмосферу. Каркопино [6] только что поразил нас доказательством тщательного изучения поэтом топографических деталей в регионе Лавиниум и Остия, Маккайл [7] подтвердил свою внимательность к антиквариату, Вард Фаулер [8] неоднократно указывал на его скрупулезную точность в изображении религиозных обрядов, и теперь Сержант [9], изучая его ботанику, подчеркнул его привычку проводить тщательные наблюдения в этой области.

[Footnote 6: Carcopino, Virgile et les origines d'Ostie.]

[Сноска 7: Маккейл, Журнал римских исследований, 1915.]

[Сноска 8: Вард Фаулер, Религиозный опыт римлянина
Люди. стр. 408.]

[Сноска 9: Сержант, Деревья, кустарники и растения Вергилия.]

Именно эта современная привычка заставляет читать георгику так похоже на замечательные эссе Фабра. Изучение пчел в четвертой книге, конечно, не свободно от ошибок, которые не смогли устранить никакие поколения пристального изучения. Но начались правильные наблюдения. С другой стороны, книга - это не просто практическое руководство фермера о том, как разводить пчел для получения прибыли. Поэта интересуют сами удивительные насекомые, их "как", "почему" и зачем. Именно тайна их инстинктов, привычек и всепоглощающей энергии приводит его к изучению пчел и, наконец, к полускрытому признанию, что его философия не смогла решить проблемы живой природы.

XV

"ЭНЕИДА"

В то время как цезарь Октавиан, теперь достигший полного политического развития, воссоединял Восток и Запад после "Акцииума", Вергилий писал последние страницы "Георгики". Битва, решившая будущее Рима, определила и следующую тему поэта. Римский эпос, заброшенный после смерти Цезаря, немыслимый во время последовавших гражданских войн, требовал слушания теперь, когда Рим был спасен и империя восстановлена. Юношеский энтузиазм Вергилия по поводу Рима, возникший из критического прочтения ее прошлой карьеры, казался полностью оправданным; он сразу же начал свою "Вирусную войну".

"Энеида" раскрывает, как повторяли критики девятнадцати веков, непревзойденный диапазон чтения. Но нет необходимости повторять свидетельства литературных обязательств Вергилия в эссе, посвященном главным образом более интимным переживаниям поэта. На самом деле,

отслеживание поэтических реминисценций у поэта, жившего в те времена, когда не требовалось скрывать заимствованные мысли, причиняет Вергилию столько же насилия, сколько Еврипиду или Петрарке. От поэта всегда ожидали выражения его собственных убеждений, но до недавнего времени считалось благородным поступком с его стороны отдать дань уважения хорошей работе своих предшественников откровенным использованием в узнаваемой форме строк, которыми он больше всего восхищается. Единственным требованием было то, чтобы поэт усвоил, а не просто объединил свое восприятие, чтобы он, как выразился Вергилий, "вырвал дубину у Геркулеса" и владел ею как хозяин.

По сути, поэзия "Энеиды" никогда не была гомеровской, несмотря на включение многих гомеровских строк. Это скорее саженец эллинистического сада Вергилия, медленно акклиматизировавшийся на итальянской почве, обильно подпитанный годами философских исследований, укрепленный, подрезанный и выросший в дерево благородной силы и классического достоинства. Форма и величественность дерева свидетельствуют о бесконечной заботливости при выращивании, но плоды не утратили нежного вкуса своих семян. Поэта Кири, Копы, Диры и Буколики всегда можно найти в "Энеиде".

Было бы долгой историей проследить в "Энеиде" расцвет саженца, посеянного на садовом участке детства Вергилия.[1] Нотка интимности, неожиданная в эпосе, случайное приподнимание вуали, чтобы показать собственное лицо поэта, время от времени не-гомеровская сентиментальность, огромное количество насыщенных смыслом словосочетаний, глубина сочувствия, проявляющаяся в таких трагических персонажах, как Паллада, Лаусус, Эвриал, настойчивое изучение внутренних мотивов, тщательный отбор эпизодов, тщательный артистизм метра, щепетильный подбор слов и точность столярного мастерства в композиции традиционных произведений. все элементы наводят на мысль о рабочих привычках, практикуемых друзьями Цинны и Валерия Катона.

[Примечание 1: Для тщательного изучения этого предмета см. Дакетт, "Эллинистическое влияние на Энеиду", Исследования колледжа Смита, 1920.]

Последний момент хорошо проиллюстрирован в речи Синон на открытии второй книги. Старая народная сказка о том, как "деревянный конь", оставленный греками на берегу, был опрометчиво притащен троянцами в цитадель, удовлетворила бесспорного Гомера. Вергилий не принимает невероятное на веру. Синон вынуждена быть предельно убедительной. В своей речи он использует все искусство убеждения: он пробуждает, в свою очередь, любопытство, удивление, жалость, восхищение, сочувствие и веру. Этот отрывок написан так же любопытно, как любой эпизод из "Катулла" или "Цириса". Это не является, как считалось, результатом одних только риторических исследований; это скорее демонстрирует врожденный здравый смысл, смягченный неотерическим интересом к психологии и неотерической точностью в формальной композиции. И все же этот отрывок демонстрирует значительный прогресс в геометрической формализации Цириса. Этот инцидент не рассматривается эпизодически, как это могло бы быть в ранних работах Вергилия. Узор не причудливо замысловат, он сформирован понимающим умом. Хотя его искусство такое же изученное и осознанное, как искусство цириса, оно обладает прямоотой и целостностью гомеровского повествования. И все же Вергилий не забыл поразительного эффекта, которого добился бы Катулл, сведя длинную историю к наводящей на размышления фразе, если бы только можно было предположить, что эта история сохранилась в памяти. История смерти Приама в цитадели рассказывается во всем ее

трагическом ужасе до тех пор, пока не достигается кульминационный момент. Затем внезапно с поразительной силой разум проносится сквозь воспоминания об ужасном увечье и выходит за их пределы благодаря удивительно сжатой фразе:

jacet ingens litore truncus avulsumque umeris caput et sine nomine corpus.

Здесь Вергилий привел только последнюю строку замалчиваемой трагедии, которую читатель вынужден представить себе сам.

Неотерическим также является точное наблюдение и терпение к деталям, проявленные автором "Энеиды". В юности Вергилий, конечно, избегал крайностей фотографического реализма, проиллюстрированных очень любопытным Моретумом, но, тем не менее, в таких произведениях, как "Копа", "Дирей" и восьмая эклога, он практиковался в ремесле миниатюриста всякий раз, когда находил мелочи эстетически значимыми. Чтобы даже тогда осознать точность его ударов, достаточно вспомнить куплет "Кубка Испании", который в одно мгновение переносит вас на пыльную дорогу итальянского июльского полудня:

Nunc cantu crebro rumpunt arbusta cicadae nunc varia in gelida sede lacerta latet.

На протяжении всей "Энеиды" участки ландшафта, укрытия для кораблей, выброшенных штормом, резные двери храмов, группы воинов в доспехах, марширующие мимо, и множество ужасных батальных сцен напоминают об этой ранней технике.

Мы только сейчас узнаем, какая степень добросовестного мастерства была вложена в эти результаты. Каркопино,[2] который с экземпляром Вергилия в руках тщательно обследовал латинское побережье от устья Тибра, мимо местечка Лавиниум до Ардеи, убежден, что поэт проследил каждый маневр и каждую вылазку на реальной местности, которую он выбрал для своего театра действий в последних шести книгах. Все еще кажется возможным узнать глубокую долину, где была устроена засада, и равнину, где Камилла разместила свою кавалерию. Более того, не может быть никаких сомнений в том, что ради создания обстановки героической эпохи Вергилий изучал останки и летописи самого древнего Рима. В различных латинских городах все еще существовали храмы шестого века, наполненные старинным оружием и доспехами, хранящимися в качестве жертвоприношений по обету, терракотовыми статуями богов и героев и даже документами, хранящимися на хранение. Во время расширения Рима на Марсовом поле часто обнаруживались безымянные гробницы с их антикварной мебелью. Из его работ очевидно, что Вергилий изучал этот материал точно так же, как он углублялся в "Древности" Варрона и "истоки" древних знаний Катона. Его замечания о Пренесте и Антемнах, его знание символов древних монет, ранних обрядов культа Геркулеса демонстрируют результаты этих ранних трудовых привычек. Однако всегда следует замечать, что в своем зрелом искусстве он является хозяином своего огромного запаса материала. Здесь никогда, как в *Culex* и *Ciris*, не демонстрируются не относящиеся к делу факты, не поддаются искушению быть экскурсными и эпизодическими. Где бы работа ни получила последний штрих, композиция демонстрирует безупречное единство.

[Footnote 2: Carcopino, Virgile et les origines d'Ostie.]

Реакция поэта на личный опыт нигде не проявляется так ярко, как в политическом аспекте "Энеиды" - факт, который тем более примечателен, что Вергилий так долго жил в эпикурейских кругах, где интерес к политике старательно подавлялся.

Однако то, что делает эту поэму первой из национальных эпосов, - это не приверженность историческим претензиям Рима на первенство в Италии. Узкий империализм городской аристократии не находит в нем поддержки. Не город Рим, а Италия является родиной "Энеиды", и Италия как цивилизующая и приносящая мир сила, а не как эксплуатирующий завоеватель. Здесь мы узнаем дух, родственный Юлию Цезарю. Герой Вергилия Эней - не латинянин, а троянец. Этот факт, конечно, обусловлен требованиями традиции, но то, что Эней получает помощь от грека Эвандера и многочисленных этрусских городов к северу от Тибра, в то время как большинство латинян присоединяются к Турну, врагу, не может быть приписано традиции. На самом деле, Ливий, который приводит более обычную римскую версию, ничего не говорит о греках, но присоединяет Латина и аборигенов Лации к Энею, в то время как он собирает этрусков под командованием рутульца Турна. Объяснение поразительного отхода Вергилия от обычной патриотической версии легенды довольно запутанно и не нуждается в рассмотрении здесь. Но мы можем, во всяком случае, отметить его желание признать множество рас, которые были объединены государством, отказаться от его одобрения узкого городского патриотизма и согласиться с тем взглядом на место и миссию Рима, в соответствии с которым Юлий Цезарь всегда действовал, распространяя гражданство на народы всех рас, рассеивая римские колонии по всей империи и наставляя провинции на путь полного участия в имперских привилегиях и обязанностях. Такой политике Вергилий, получивший образование в Кремоне, Милане и Неаполе, вряд ли мог не посочувствовать.

Исходя из позиции авторитета, которую занимает Эней, можно сделать вывод, что Вергилий выступал за сильную монархическую форму правления и предполагал, что Эней станет, так сказать, прототипом Августа. Вывод, несомненно, чересчур поспешный. Вергилий обладал живым историческим чутьем и в своем герое, по-видимому, всего лишь попытался изобразить примитивного царя героической эпохи. Действительно, Эней, возможно, более автократ, чем гомеровские цари, но это потому, что троянцы изображаются как мигрирующая группа, оторванная с корнями от своей земли и правительства и следующая за полубожественным лидером, указаниям которого они сознательно решили повиноваться. В его ссылках на римскую историю, в представлении героев шестой книги, а также в исторических сценах "щита" не просматривается монархических тенденций. Брут-тираноубийца, Помпей и Катон, непримиримые враги Цезаря, юного героя Вергилия, удостоены похвалы в "Энеиде", хотя многие в те дни считали изменой упоминать мятежников с уважением.

Действительно, очень поразительный факт, что Вергилий, который был первым из римских писателей, воздавший божественные почести юному Октавиану, полностью воздерживается от этого в "Энеиде" в то время, когда остальной Рим не стеснялся никаких форм восхваления. Юлий Цезарь по-прежнему считается чем-то большим, чем просто человеком,

vocabitur hic quoque votis,

но Августус - нет. Контраст значительный. Язык этого очень молодого человека в Неаполе, конечно, был окрашен восточными выражениями, которые отчасти бессознательно были заимствованы из разговоров в Саду. Это были также фразы, которые Юлий Цезарь поощрял в последние два года своей жизни; ибо он узнал из опыта Александра, что кратчайший путь через конституционные препятствия к верховной власти лежит через доктрину божественной царственности. Фактически, Сенат был вынужден признать эту доктрину еще до смерти Цезаря, а после его смерти последовательно голосовал за публичные жертвоприношения на его могиле.

Таким образом, Вергилий следовал высокому авторитету в случае с Цезарем и делал логический вывод в случае с Октавианом, когда писал первую эклогу и проэмию Георгиков. Это делает тем более примечательным тот факт, что, хотя его восхищение Августом возрастало с годами, он перестал одобрять растущий культ "поклонения императору". То, что ограничение было вызвано не просто политикой правительства, кажется очевидным, поскольку Гораций, который в своих юношеских работах демонстрировал недоверие к правительству, теперь научился очень свободно использовать небесные обращения.

Таким образом, Август никоим образом не отождествляется с полубожественным Энеем. Вергилий даже не ставит его на особо почетный пост на горе откровений, скорее, он стоит посреди длинного ряда замечательных принципов. С достоинством и здравомыслием он подчеркивает великие события Республики и ее героев. Следовательно, мы можем справедливо заключить, что, когда он писал эпос, он выступал за конституцию по типу предложенной Цицероном, согласно которой принцепс должен быть истинным лидером государства, но в конституционной республике.

Именно великое прошлое, иллюстрируемое шествием героев и пророческими изображениями щита Энея, разжигает воображение поэта. Его симпатии достаточно щедры, чтобы охватить каждую расу в империи и каждого лидера, участвовавшего в становлении Рима, от божественного основателя Ромула и тираноубийцы Брута до мучеников-республиканцев Катона и Помпея, а также восстановителей мира Цезаря и Августа. У него нет ложного патриотизма, который закрывал бы ему глаза на недостатки Рима. Он откровенно, с сожалением признает ее неудачи в искусстве и науке со скромностью, которая не позволяет упоминать о его собственной спасительной работе. Он также знает, что Рим делал и может делать в высшей степени хорошо: он может править справедливо, изгонять насилие законом и заменять войну миром. После многих лет гражданских войн, которые он пережил в душевной агонии, неудивительно, что такая миссия казалась ему высшей. И вот почему последние слова Анхиза, обращенные к Энею, таковы:

Haec tibi erunt artes: pacisque imponere morem

Parcere subjectis et debellare superbos.

"Трагедия Дидоны", возможно, лучше, чем любая другая часть "Энеиды", показывает, насколько чутко поэт отразил жизнь и мысли Рима, а не греческие литературные источники. И все же неугомонный Сервий был настолько безрассуден, что заявил, что вся книга была "переведена" у Аполлония. К счастью, в данном случае у нас есть предполагаемый источник, и мы можем встретить схолиаста решительным отрицанием. Оба автора изображают любовь к женщине, и на этом сходство заканчивается. Аполлоний полностью зависит от буквального Купидона и его стрел. Вергилий, конечно, до такой степени подчиняется греческим традициям, что обыгрывает мотив - Купидон пришел на пир в образе Аскания, - но только после того, как в нем действительно больше не было необходимости. Психология развития страсти в первой книге впервые убедительно выражена в какой-либо литературе. Эней сначала получает полный отчет о мужественных деяниях Дидоны и вскоре видит ее восседающей на своем троне, руководящей работой по строительству города, судящей и правящей как законодатель и администратор и, наконец, провозглашающей милосердие к своим товарищам, потерпевшим кораблекрушение. Со своей стороны, мы обнаруживаем, что она, как и он, давно знала его историю и в своем восхищении его народом выбрала деяния троянских героев для изображения на дверях храма:

Sunt lacrimae rerum. Поэт просто и естественно ведет героя и героиню через опыт восхищения, щедрой симпатии и благодарности к неизбежной привязанности, которая на ночном банкете, через волнующую душу историю, рассказанную с достоинством и услышанную с восторгом, могла перерасти только в очень человеческую страсть.

Существенное различие между трактовкой этой темы Вергилием и Аполлонием можно проследить по различию между римской и греческой семьями. В Италию, как и в Грецию, много веков назад пришли орды индоевропейских переселенцев из Придунайского региона, которые принесли на Юг полезные семейные обычаи Севера, те самые обычаи, на основе которых позже расцвела трансальпийская литература о средневековом рыцарстве.

В Греции эти социальные обычаи, все еще узнаваемые у Гомера и в ранней мифологии, в VI веке были подавлены обратным течением эгейского общества, когда северная аристократия была вынуждена подчиниться туземному элементу, составлявшему костяк демократии. С возрождением эгейского общества, в котором женщина была низведена до положения прислуги, возможности создания подлинной романтической литературы, естественно, подошли к концу.

В Риме не было подобного катаклизма на протяжении веков Республики. Здесь древний род, хотя и несколько смешанный с этрусками, выжил. Древняя аристократия сохранила свое господствующее положение в государстве и обществе, и ее нравы даже проникли вниз. Они не были подавлены новыми южными обычаями, идущими снизу, по крайней мере до тех пор, пока плебейский элемент не заручился поддержкой основателей империи и, наконец, не одержал верх над знатью. В Риме во времена Республики не было вопроса о социальном неравенстве между полами, поскольку, хотя по закону патриархальная клановая система, навязанная потребностями мигрирующей группы, возлагала на отца семейства ответственность за общественный порядок, не делалось никаких выводов в ущерб положению матери в семье. Непот однажды метко заметил: "Здесь считается вполне приличным многое из того, что греки считают неделикатным. Ни один римлянин не постесняется пригласить свою жену на светский ужин. Фактически, наши женщины неизменно занимают почетные места в храмах и на больших собраниях. В таких вопросах мы полностью отличаемся от греков".

Действительно, само упорство дворянства само по себе было благоприятным фактором для улучшения положения женщин. Не только накопление богатства в доме и сохранение придворных манер требовали уважения к хозяйке виллы, но и передача благородной крови и солидного наследования имени и земель через руку матери были вопросами жизненно важной важности. Кроме того, знать сената долгое время контролировала внешнюю политику империи, и по мере роста империи мужчин отзывали в зарубежные части с миссиями и представительствами. В такие времена дама в важном доме была хозяйкой крупных дел. В качестве важного факта было указано, что отец Гракхов долгие годы выполнял посольские и военные обязанности. Следовательно, обучение ребят легло на долю Корнелии, и этот факт может в какой-то мере объяснить гуманитарные интересы этих двух блестящих реформаторов. Ответственность, которая ложилась на плечи таких женщин, должно быть, стимулировала их самые сильные стороны и таким образом снискала им то высокое уважение, которое, как мы знаем, в данном случае сыновья оказывали своей матери. Не скоро забудется сцена (Цицерон, *Ad Att.* XV, II), на которой Брут и Кассий вместе со своими женами, Порцией и Терцией, и Сервилией, матерью Брута, обсуждали с Цицероном важные решения. Когда Брут колебался,

Цицерон уклонялся от ответа, а Кассий, как обычно, выходил из себя, именно Сервилия предложила единственно возможное решение, и именно ее программу они приняли. Стоит ли удивляться, что греческие историки, такие как Плутарх, никогда не могли до конца осознать роль в римской политике таких женщин, как Клодия, Порция и Теренция? В полном отчаянии он обычно прибегает к гипотезам о какой-нибудь личной интриге, чтобы объяснить их мощное влияние.

По правде говоря, весьма вероятно, что если бы римской литературе было позволено идти своим естественным путем, не будучи подавленной, как это было с итальянской литературой эпохи возрождения, она продвинулась бы гораздо дальше по пути к романтизму. Аполлоний оказал в этом отношении гораздо большее сдерживающее влияние, чем вдохновение. Как бы то ни было, первая и четвертая книги Вергилия так же немыслимы в греческой одежде, как и шестая. Они представляют собой очень заметную веху в истории литературы.

Вергилий не полностью избегает строгих условностей своих греческих предшественников: например, в его четвертой книге есть намеки на мелодраматический "плач девы", столь любимый александрийской галереей мюзик-холла. Но Вергилий, очевидно, к своему собственному удивлению, позволяет своему римскому пониманию жизни возобладать и выходит за рамки своих первоначальных намерений, как только он почувствовал власть персонажа, которого изображает. Дидона быстро выходит из роли искусительницы, созданной как последняя ловушка для заманивания героя в ловушку, и становится женщиной, которая раскрывает человеческие законы, имеющие первостепенное значение даже для божественного предопределения. Осознав это, поэт жертвует даже своим героем и разрушает свой первоначальный сюжет, чтобы быть верным своему пониманию человеческой природы. Признание Энея перед уходом в том, что, повинаясь велению небес, он богохульствовал против любви - *polluto amore* - какая странная мысль для пия Энея! Это чувство не было греческим, это была новая вспышка интуиции самого чистого Романтического чувства.

"Энеида" - также удивительно религиозная поэма, написанная человеком, посвятившим столько восторженных лет материалистической философии. Действительно, принято считать, что поэт перед смертью отказался от своей философии и обратился к стоицизму. Но, в конце концов, для этого предположения нет никаких законных оснований. В "Энеиде", конечно, нет научного фанатизма, свойственного Эпне, и поэт с годами стал мягче и терпимее, но то, что он все еще был убежден в общей обоснованности эпикурейских гипотез, кажется несомненным. Многие загадки "Энеиды", по крайней мере, лучше всего объясняются с этой точки зрения. Повторение его кредо в первой "Энеиде" должно предупредить нас, что его энтузиазм в изучении *Regum natura* не угас. Действительно, "Энеида" полна эпикурейских фраз и понятий. Атомы огня высекаются из кремня (VI, 6), атомы света испускаются солнцем (VII, 527 и VIII, 23), древние люди рождались дурно и жили подобно тем, которые описаны в пятой книге Лукреция (VIII, 320), а Конингтон находит в "Энеиде" почти двести воспоминаний о Лукреции, причем в более поздних книгах их доля скорее увеличивается, чем уменьшается.[3]

[Сноска 3: Сервий, VI, 264, прямо заявляет: *ex majore parte, Sironem*, тождественный, последующий магистрат эпикурейцев.]

Однако именно при интерпретации слова *фатум* и роли, которую играют боги[4], обычно применяется проверка философии Вергилия. Современным эквивалентом *фатума*, как сказал Гюйау[5], является детерминизм. Детерминизм был принят обеими школами, но с разницей. Для

стоиков фатум - синоним Провидения, популярное имя которого - Зевс. Эпикурейец также принимает фатум как управляющий вселенной, но он не телеологичен, и Зевс не отождествляется с ним, а, подобно человеку, подчинен ему. Опять же, Стоик неизменно фаталист. Даже моральные обязательства человека, которые признаются, не подразумевают реальной свободы в формировании результатов, ибо, хотя у человека есть выбор между добровольным достижением своей цели (что является добродетелью) или сопротивлением уколам (что является пороком), общая сумма его достижений не меняется от его выбора: *ducunt volentem fata, nolentem trahunt*. С другой стороны, учитель Вергилия, хотя и утверждает причинно-следственную связь для управления вселенной:

nec sanctum numen fati protollere fines posse neque adversus naturae foedera niti

[Сноска 4: Эти отрывки часто анализировались и обсуждались. См. особенно Хайнце, "Эпическая техника Вергилия", 290 и далее, который интерпретирует Зевса как судьбу; Маттеи, "Класс". Кварт. 1917, стр. 11-26, "кто отрицает личность"; Драхман, "Гудерн кос Вергилий", 1887; МакИннис, Класс. Откр. 1910, стр. 160, и Вард Фаулер, "Эней на месте Рима", стр. 122 и далее. Для более полной постановки этого вопроса см. *Am. Jour. Фил.* 1920.]

[Сноска 5: *Morale d'Epicure*, стр. 72.]

(Лук. V, 309), утверждает спонтанную инициативу в атомах души человека:

quod fati foedera rumpat ex infinite ne causam causa sequatur.

(*Lucr.* II, 254). Если бы тогда Вергилий был стоиком, его Юпитер был бы всемогущим и всеведущим и воплощением фатума, а его человеческие характеры должны были бы быть представлены как лишённые независимой силы; но таких идей нет в "Энеиде".

Юпитер действительно иногда называют "всемогущим", но так же называют Юнону и Аполлона, что показывает, что этот термин следует использовать в относительном смысле. В некоторых случаях он может даровать очень большие полномочия, как, например, когда он говорит Венере: *Imperium sine fine dedi* (I, 278). Но настоящим провидением он никогда не кажется. Он вытягивает (*sortitur*) жребий судьбы (III, 375), он не распределяет их по своему желанию, а разворачивает книгу судьбы и объявляет о том, что находит (I, 261). Он бессилён исполнить молитву Кибелы о том, чтобы корабли избежали распада:

Cui tanta deo permissa potestas? (IX, 97.)

Он не может решить исход битвы между воинами, пока не взвесит их судьбы (XII, 725), и на совете богов он недвусмысленно заявляет о своём невмешательстве в законы причинности:

Sua cuique exorsa laborem

Fortunamque ferent. Rex Jupiter omnibus idem.

Fata viam invenient. (X, 112.)

И здесь схолиаст наивно замечает:

Videtur his ostendisse aliud esse fata, aliud Jovem.[6]

[Сноска 6: Serv. ad loc. MacInnis, Class. Rev. 1910, стр. 172, цитирует несколько других отрывков в опровержение Хайнце.]

Опять же, вопреки кредо стоиков, поэт представляет своих человеческих персонажей способными к действию и даже к тому, чтобы противостоять судьбе. Эней во второй книге импульсивно бросается в бой; он мог бы забыть о своей судьбе и остаться на Сицилии, если бы захотел (V, 700). Он также мог бы остаться в Карфагене и полностью объясняет, почему он этого не делает; и Дидона, если бы покинула нескла фати, могла бы помешать судьбе (I, 299), и, наконец, делает это, убивая себя раньше времени [7] (IV, 696). Гипотеза стоиков, по-видимому, полностью опровергается в таких отрывках.

[Сноска 7: См. Matthaei, Class. Quart. 1917, стр. 19.]

Можем ли мы с большим успехом принять эпикурейское вероучение? По крайней мере, в той мере, в какой это ставит *foedera naturae* выше богов и приписывает людям некоторую свободу воли и действий, ибо, как мы видели, в обоих этих вопросах Вергилий согласен с Лукрецием. Но есть одна очевидная трудность в том, что Вергилий, вопреки обычной практике своего учителя, допускает вмешательство богов в человеческие действия. Трудность, однако, становится очевидной только в том случае, если, как это делает Вергилий, мы воспринимаем этих богов просто как героических и сверхчеловеческих персонажей драмы, принятых из героической эпохи, чтобы сохранить в воображении людей древнюю атмосферу, в которой жил Эней с тех пор, как Гомер впервые заговорил о нем. Как такие персонажи, они обладают силой инициативы и правом вмешиваться в действия, которые Эпикур приписывает мужчинам, и в той мере, в какой они героического роста, их действия могут быть более эффективными. Так далеко эпикуреец вполне мог бы зайти и должен зайти в эпосе героической эпохи. Это, конечно, не то же самое, что сказать, что Вергилий принял богов в подражание Гомеру или что ему нужна была олимпийская техника, потому что он считал ее необходимой частью эпической техники. Несомненно, Вергилий был одарен такой же критической проницательностью, как и Лукан. Но ему пришлось принять этих существ в качестве второстепенных персонажей в тот момент, когда он выбрал Энея своим героем, поскольку Эней был сыном Венеры, который, по крайней мере, часть времени жил с небожителями. Ее присутствие, в свою очередь, касалось Юноны, Юпитера и остальных ее повседневных спутников. Более того, поскольку история повествовала о героической эпохе давних времен, персонажи должны были естественно вести себя так, как привыкли вести себя персонажи того времени, и существовали старые книги, такие как Гомер и Гесиод, из которых каждый школьник был знаком с их поведением. Если бы поэт хотел создать правдоподобный рассказ о том периоде, он мог бы модернизировать своих персонажей не больше, чем Теннисон в своих Идиллиях. Потенциальные боги присутствуют в рассказе не для того, чтобы раскрыть философию Вергилия - они этого не делают, - а для того, чтобы сориентировать читателя в атмосфере, в которой Эней всегда представлялся подвижным. Они выполняют ту же функцию, что и героическое снаряжение и архитектура, для правильного описания которых Вергилий посещал древние храмы и изучал Катона.

Если бы он выбрал героя-современника или кого-то, менее благословленного небесными родственниками, нет никаких оснований предполагать, что он вообще использовал бы сверхчеловеческих персонажей. Если это правда, то искать в этих персонажах собственное представление поэта о божественности так же некритично, как было бы судить о его вкусе в мебели по соломенной кровати, которую он выбрал для своего героя в лачуге Эвандера. В

эпосе о первобытном Риме требования искусства превалировали над личными убеждениями, и так было бы у любого истинного поэта; и если бы какой-нибудь критик был достаточно прозаичен, чтобы возразить, Вергилий мог бы ответить словами Ливия: "Безумный гек вения древности с искажением человеческого божественного начала урбиум августиорал фасат", и если бы было подчеркнуто несоответствие с его философией, он мог бы сослаться на "proemium" Лукреция. Таким образом, ясно, что, хотя концепции судьбы и свободы воли, встречающиеся в "Энеиде", расходятся со стоическим кредо во всех пунктах, они легко вписываются в эпикурейскую схему вещей, как только мы допускаем то, что с готовностью допустил бы любой эпикурейский поэт: небожители могли бы использоваться в качестве персонажей драмы, если бы в целом подчинялись тем же законам причинности и свободы, что и люди.

Что же тогда мы можем сказать о стоической окраске шестой книги? Во-первых, она на самом деле не стоическая. Это синкретизм мистических верований, развитый орфическими и апокалиптическими поэтами и мистиками от Пифагора и Платона до группы эллинистических писателей, популяризированный более поздними менее логичными философами-стоиками, такими как Посидоний, и получивший во времена Вергилия широкое признание среди тех, кто терял терпение от сложных метафизических процессов мышления. Действительно, Вергилий внес определенный вклад в то, чтобы навязать эти верования раннему христианству, хотя они были для него не более существенны, чем для стоицизма.

Как бы то ни было, эта мистическая обстановка была здесь принята потому, что поэту для его собственных целей требовалось видение воплощенных душ римских героев, чего не могли обеспечить ни эпикурейское, ни ортодоксальное стоическое вероучение. Таким образом, он создал этот миф, как Платон для своей собственной цели создал видение Эра.[9] Драматическая цель "сошествия", конечно, состояла в том, чтобы завершить для Энея постепенное раскрытие его миссии, столь искусно разработанной тщательными этапами на протяжении всей третьей книги, [10] дать герою его последние приказы и вдохновить его на последнюю борьбу.[11] Затем поэт понял, что он мог бы в то же время произвести мощное художественное воздействие на читателя, если бы добился этого с помощью видения великих героев Рима, представленного в обзоре Анхиза с горы откровений, поскольку это была эпоха, в которую Рим все больше гордился своей историей. Но для этого у него должен быть миф, который предполагал, что души жили до их земного существования. Гомеровского лимба с ушедшими душами было недостаточно (хотя Вергилий и этим воспользовался, чтобы вспомнить друзей из ранних книг). Имея это в виду, он строит свой дом мертвых из того, что Сервий называет *tumuli sapientia*, добавляя кое-где детали даже из легендарных персонажей нижнего мира, чтобы читатель мог встретить некоторые знакомые лица. Однако обстановку не следует понимать буквально, поскольку, конечно, ни он, ни кто-либо другой на самом деле не верили, что внутриутробные духи носили атрибуты и одеяния своего будущего существования. Поэта также не волнует эсхатология, которую пришлось принять за декорацию; но его суждения жизни, хотя и получили возможность найти выражение через персонажей сцены, не могут быть ограничены ими; это его собственные глубочайшие убеждения.

[Сноска 8: Никто не стал бы пытаться вывести эсхатологию Стивена Филлипса из положения его Христа в Аду.]

[Сноска 9: Вергилий действительно постарался предупредить читателя (VI, 893), что "Портал нереальных снов" относит образы шестой книги к художественной литературе, и Сервий повторяет это предупреждение. Об использовании мифов эпикурейцами см. главу VIII выше.]

[Footnote 10: See Heinze, *Epische Technik*, pp. 82 ff.]

[Сноска 11: На это неоднократно указывает Вергилий: Aen. V, 737; VI, 718, 806-7, 890-2.]

Часто говорили, что философская система Вергилия запутанна и что его суждения о провидении непоследовательны, что на самом деле он, по-видимому, не продумал свои проблемы до конца. Это, конечно, верно в той мере, в какой это верно для всех изучающих философию его времени. Действительно, мы должны признать, что при крайне неадекватной психологии того времени невозможно было найти разумное решение центральной на тот момент проблемы детерминизма. Но нет никаких оснований предполагать, что поэт не владел в совершенстве тем, что могли предложить лучшие учителя его времени.

Однако эпикурейство Вергилия служило ему главным образом в качестве рабочей гипотезы для научных целей. Его не интересовали ее этические и религиозные последствия, и поэтому в последние дни ему не позволялось вмешиваться в глубокое уважение к основам религии. Точно так же самые глубокие современные исследователи науки, люди, которые во всех своих экспериментах безоговорочно руководствуются гипотезами атомизма и детерминизма в мире исследований, обычно последними отрицают обоснованность основных религиозных догматов. В своем знании религиозных обрядов Вергилий обнаруживает точность, которая, по-видимому, указывает на очень тщательное соблюдение их в доме его детства. Они стали, так сказать, второй натурой и проникают так же глубоко, как сыновняя преданность, которая так постоянно приводит к появлению слова *pietas* под его пером.

Но его религия - это нечто большее, чем вопрос обрядов и церемоний. Она, в весьма необычной для римлянина степени, ассоциировалась с моралью, особенно с общественной. Виновники его Тартара - это не просто легендарные преступники против требовательных божеств:

Hic quibus invisi fratres, dum vita manebat,

Pulsatusve parens et fraus innexa clienti,

Aut qui divitiis soli incubuere repertis

Nec partem posuere suis, quae maxima turba est.

Добродетели, завоевывающие место в Элизии, указывают на такое же слияние религии с гуманитарными симпатиями:

Hic manus ob patriam pugnando vulnera passi,

Quique sacerdotes casti, dum vita manebat,

Quique pii vates et Phoebo digna locuti,

Inventas aut qui vitam excoluere per artis,

Quique sui memores aliquos fecere merendo:

Omnibus his nivea cinguntur tempora vitta.

Его Элизиум далек от гомеровского лимба; действительно ли он заслужил свое место среди тех, Phoebo digna locuti.

Прежде чем завершить свою работу, поэт отправился в Грецию, чтобы посетить места, которые он описал и которые, по-видимому, в своем брезгливом рвении считал нуждающимися в таком же тщательном изучении, какому он уделил свой итальянский пейзаж. Три года он все еще считал необходимыми для завершения своей эпопеи. Но в Мегарах он заболел, и, когда его в сопровождении Августа доставили обратно в Брундизий, он умер там в 19 году до нашей эры в возрасте пятидесяти одного года. Перед смертью он распорядился сжечь свой эпос и чтобы его душеприказчики, его давние друзья Вариус и Тукка, уничтожили все его рукописи, которые он сам не смог опубликовать. Однако, чтобы спасти "Энеиду", Август обратился к верховной власти государства с просьбой аннулировать этот пункт завещания. Второстепенные произведения, вероятно, некоторое время оставались неопубликованными. Действительно, нет убедительных доказательств того, что такие произведения, как "Кирис", "Этна" и "Каталептон", были распространены в эпоху Августа.

Прах был перевезен в его дом в Неаполе и похоронен под надгробием с простой эпитафией, написанной кем-то из друзей, знавших простоту сердца поэта:

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc

Parthenope; cecini pascua rura duces.

Его могила^[12], как обычно, находилась на обочине дороги за городом, по словам Доната, на шоссе в ПUTEОЛЫ, почти в двух милях от ворот. Недавнее обследование региона показало, что в результате какого-то средневекового катаклизма, не упомянутого ни в одной летописи, дорога и гробница просели, и теперь тихие воды золотого залива протекают на много морских саженей выше них.

[Сноска 12: Гюнтер, Pausilypon, стр. 201]